

АНТОН ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

КНИГА

7

1·9·2·9

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

12064
409

MARI D'ELLE.

Подиранничая ночь. Опереточная певица Наталья Андреевна Бронкина, по мину Никитина, лежит у себя в спальне: всем своим существом предается отдыху. Она сидко дремлет и думает о своей маленькой дочери, живущей где-то далеко у забушки или тетушки.. Эта девочка для нее дороже публики, бунетов, решетий, поилонников... и она рада думать о ней до самого утра. Она счастлива, покойна и жаждет только одного, чтобы ей не помешали безмятежно залиться, дремать, мечтать о дочке.

Вдруг певица вздрагивает и широко открывает глаза: в передней раздается резкий, отрыкнутый звонок. Не проходит и десяти секунд, как дребезжат другой звонок, третий. Отворяется шумно дверь и в переднюю, стучая ногами, как лошадь, отдуваясь от холода и сырости, кто-то входит.

— Чорт возьми, ненужу шубу повесить! — слышит артистка хриплый бас. — Известная артистка, посмотриши! Поглядеть пять тысяч в год, а не может себе породочной вешалки авести!

«Мун.. — морщится певица. — И, кажется, принес с собой почтение одного из своих приятелей.. Протинко!»

Пронал поной. Когда в передней утихают громные сморканье и установка налопти, певица слышит в своей спальне осторожные шаги.. Это вошел ее муж, mari d'elle, Денис Петрович Никитин. От него несет холодом и запахом коньяка. Он долго таскает по спальне, тяжело дышит и, настыльясь в потемках на тулы, чего-то ищет..

— Ну, чего тебе? — стонет певица, когда ей надоедает эта возня. — Ты меня разбудил.

— И, душенька, спички ишу. Ты... ты, стало-быть, не спишь? А я тебе поискал принес. Кланяется тебе этот... нам его.. рыжий, что постолицо тебе букеты подносит. Загноздин... Сейчас только что у него был.

— Зачем ты у него был?

— Да так... Посидели, поговорили... выпили. Как хочешь, Натали, а не нравится мне этот субъект. У насено не привится! Такой болван, никаких мало. Богач, капиталист, тысяч

шестисот имеет, а никакого в нем этого незаметно. Для него

деньги, что поу редька. И сам не трескает, и другим не дает. Надо капитал в оборот пускать, а он за него дернется, расстаться боится... А что толку в лежачем капитале? Лежачий капитал — это та же трава.

Mari d'elle нашупывает край кровати и, отдуваясь, садится у ног жены.

— Лежачий капитал — это вред... — продолжает он. — Почему в России дела хуже пошли? А потому, что у нас лежачих капиталов много, кредита боится... Не то, что в Англии. В Англии, брат, нет таких гусей, как Загвоздкини... Там найдешь копейки в оборот пускается... Да... В сундуках там не дернёт...

— Ну, и отлично. Я спать хочу.

— И сейчас... О чём, бишь, я? Да... По нынешним временам Загвоздкина повесить мало... Подлец и дурак... Дурак и больше ничего. Ежели б я без ручательства у него просил взаймы, а то ведь и ребенку видно, что тут никакого риска нет. Не понимает, осел! За десять тысяч он сто бы получил. Через год бы у него еще сто тысяч было! Просил, толковал... так и не дал, болван!

— Надеюсь, что ты не от моего имени у него взаймы просил?

— Гм... Странный вопрос... — обинякается Mari d'elle. — Во всяком случае он мне бы скорее дал десять тысяч, чем тебе. Ты женщина, а я все-таки мужчина, деловой человек. А какой проект я ему предлагал! Не воздушные шары, не химеры какиенибудь, а дело, суть! Ежели на понимающего человека насмочить так за одну идею могут тысяч двадцать дать! Ты даже поймешь ежели тебе рассказать, в чём дело. Только ты тово... не раз болтай... ни-ни... Да я, кажется, уже говорил тебе. Говори и тебе про кишки?

— Мм... После...

— Говорил, кажется... Понимаешь, в чём дело? Теперь гастрономические магазины и колбасники получают кишечки на месте и за дорогую цену. Ну-о, а ежели привозить сюда кишечки с Кавказа, где они ни по чём, выбрасываются, то... как по-твоему? У кого колбасники будут покупать кишечки здесь в бойнях или у меня? Конечно, у меня! Ведь я буду продавать в десять раз дешевле! Теперь станем так рассуждать: ежегодно в столицах и в центрах покупается этих самых кишечек на... положим, на пятьсот тысяч. Это минимум. Ну-о, а ежели...

— Здрава расскажешь... После...

— Да, правда... Тебе спать хочется, pardon... Сейчас уйду... Чтоши говори, а с капиталом, куда ни сунься, неизвестно что можно сделать... С капиталом даже на окурках можно миллионы заработать... Взять хоть ваше театральное дело. Почему, например Лентовский прогорел? Очень просто! С самого начала не таи дело повел. Капитала нет, а он во всю извоновскую жарит, сломя головку... Нужно сначала капиталом заручиться, а потом по-

тихоньку да полегоньку... Нынче на частном или народном театре отлично пахнуть можно... Ежели ставить настоящие пьесы, по дешевой цене пустить, да публике в жилку попасть, то в первый же год сто тысяч в карман положишь... Ты вот не понимаешь, а я верно говорю... Тоже ведь и ты лежачие капиталы любишь, не лучше этого шута Загвоздкина... Копишь и сама не знаешь для чего... Не слушаешься, не хочешь... Пустыня бы в оборот, так не мыкалась бы по свету белому... Ведь для первого раза, чтоб частный театр устроить, довольно и пяти тысяч... Не так, конечно, как Лентовский, а скромно... потихоньку... Актрисы у меня уже есть, помещение я присмотрел... денег только нет... Если б ты понимала, то давно бы уже рассталась со своими этими разными пятипроцентными... процентными, выигрышными...

— Нет, тестя... Ты и так уж меня достаточно пошипал... Будет с меня, наказана...

— Если по-бабы рассуждать, то, конечно... — вздыхает Никитин, поднимаясь. — Конечно!

— Будет с меня... Ну, ступай, не мешай мне спать... Надоело твои бредни слушать.

— Гм... Так-с... Конечно! Пошипал... обобразил... Мы, что сами даем, то помним, а что берем, того не помним.

— И у тебя никогда ничего не брала.

— Тан ли? А иногда мы еще не были известной артисткой, то на чей счет мы ишли? А что, позвольте вас спросить, вытнула вас из нищеты и осчастливила? Этого вы не помните?

— Ну, ступай, спи. Поди, проспись.

— Ежели я пакусь вам пыни... ежели я для такой персоны пыни, то я могу вовсе уйти.

— И уходи. Отлично сделаешь.

— И уйду. Довольно уж я унижался. И уйду.

— Ах, боне мой! Да уходи же! Я буду очень рада!
Ладно. Увидим.

Никитин что-то бормочет про себя и, пытаясь на стулья, выходит из спальни. Засим доносится из передней шепот, шарканье калош и звук запираемой двери. Mari d'elle всерьез обиделась и ушла.

«Слава богу, ушла... — думает певица. — Теперь спать можно». И, засыпая, она думает о своем Mari d'elle: что он, и откуда взялось это наказание? Когда-то он идёт в Чернигове и слушал там бухгалтером. Как обыкновенный серенький обыватель, а не Mari d'elle, он был очень силен: ходил на слушку, получал жалование, и все его проекты и затеи не шли дальше новой гитары, модных брюк и лятерного мундштука. Ставши же «мужем знаменитости», он совсем преобразился. Певица помнит, что, когда впервые она объявила ему, что поступает на сцену, он долго ломался, возмущался, изловился ее родителям, гнал ее из дома. Пришлое поступать на сцену без его

позволения. Потом же, узнав по газетам и от людей, что она берет хорошие куши, он «простил» ее, бросил бухгалтерию и стал ее прихвостнем. Диву давалась артистка, глядя на прихвостня: когда и где успел он приобрести новые вкусы, лоск и замашки? Где он узнал вкус устриц и бургундских вин? Кто научил его одеваться по моде, причесываться, говорить Натали вместо Наташа?

«Странно... — думает певица. — Прежде, бывало, получит жалованье и прачет, а теперь и ста рублей в день ему мало. Бывало, при гимназистах говорить боялся, чтоб глупости не сказать, а теперь даже с князьями фамильярничает... Дрянистой человечинкой!»

Но вот певица опять вздрогивает: опять в передней дремлют звонки. Горничная, бранясь, и сердито шлепая туфлями, идет отворять дверь. Опять кто-то входит и стучит, как лошадь.

«Вернулся! — думает певица. — Когда же, наконец, дадут мне покой? Это возмутительно!»

Артисткой овладевает злоба.

«Постой же... Я покажу тебе, как комедии играть! Ты у меня уйдешь! Я заставлю тебя уйти!»

Бронина вскакивает и босая бежит в маленький зал, где обыкновенно спит ее *mari*. Застиает она его в то время, когда он раздевается и старательно складывает свою одежду на пресло.

— Ты же ушел! — говорит она, глядя на него блестящими, ненавидящими глазами. — Зачем же ты вернулся?

Никитин молчит и только сопит.

— Ты же ушел! Изволь сию же минуту убираться! Сию же минуту! Слышишь?

Mari d'elle наспехает и, не гляди на жену, снимает помочи.

— Если ты, накал, не уйдешь, то я уйду! — продолжает певица, топая босой ногой и сверкая глазами. — Я уйду! Слышишь ты, накал... негодяй, лакей? Вон!

— Постыдились бы хоть при посторонних... — бормочет мух.

Певица откладывается и теперь только видит незнакомую ей актерскую физиономию... Физиономия, видевшая оголенные плечи и босые ноги артистки, сконфужена и готова провалиться...

— Рекомендую... — бормочет Никитин. — Проинициальный антрепренер Есабожников.

Певица вскрикивает и убегает к себе в спальню.

— Вот-с... — говорит *mari d'elle*, растягиваясь на диване. — Все плохо, как по маслу. Милый, разлюбленный мой, хороший... Поцелуй и облыни... А как только дело носнулось до денег, то... как видите... Великое дело деньги!.. Спокойной ночи!

Через минуту слышится храп.

1885.

СОН.

(Сваточный рассказ.)

Бывают погоды, когда зима, словно оалившись из человеческую немощь, призывает к себе на помощь суровую осень и работает с нею сообща. В беспросветном, туманном воздухе иружается снег и донць. Ветер, сырой, холодный, пронизывающий, с неистовой алобой стучит в окна и в кровли. Он воет в трубах и плачет в вентиляциях. В темном, кам сажа, воздухе висит тоска... Природу мутят... Сыро, холодно и жутко...

Точно такая погода была в ночь под Рождество тысяча восемьсот восемьдесят второго года, когда я еще не был в арестантских ротах, а служил оценщиком в судной кассе отставного штабс-капитана Тупаева.

Было двенадцать часов. Кладовая, в которой я по воде хозяина имел свое ночное местопребывание и изображал собою стороннюю собаку, слабо освещалась синим лампадным огоньком. Это была большая квадратная комната, заполненная узлами, сундуками, отжерками... На серых деревянных стенах, из щелей которых глядела растрепанная пакля, висели золоченые шубки, поддевки, ружья, картины, бра, гитара... Я, обиженный по ночам сторожить это добро, лежал на большом красном сундуке за витриной с драгоценными вещами и задумчиво глядел на лампадный огонек...

Почему-то я чувствовал страх. Вещи, хранившиеся в кладовых судных касс, страшны... В ночную пору под тусклом свете лампадки они кажутся живыми... Теперь же, когда за окном роят донць, а в печи и над потолком жалобно визжит ветер, мне казалось, что они издавали воющие звуки. Все они, прежде чем попасть сюда, должны были пройти через руки оценщика, т. е. через меня, а потому я знал о каждой из них все... Знал, например, что за деньги, вырученные за эту гитару, куплены порошки от чихоточного капиля... Знал, что этим револьвером застрелился один пьяница; жена сирала револьвер от полиции, заложила его у нас и купила гроб. Браслет, глядящий на меня из витрины, заложен человеком, украшившим его... Две кружевые сорочки, помеченные 178 №, заложены девушкой, которой нужен был рубль для входа в «Salon», где она собиралась заработать... Короче говоря, на каждой вещи читал и безвыходное горе, болезнь, преступление, проданный разндрат...

В ночь под Рождество эти вещи были как-то особенно красноречивы.

— Пусти нас домой!.. — плакали они, казалось мне, вместе с ветром. — Пусти!

Но не одни вещи возбуждали во мне чувство страха. Когда я высекивал голову из-за витрины и бросал робкий взгляд на темное, испотевшее окно, мне казалось, что в кладовую с улицы глядели человеческие лица.

«Что за чушь! — бодрил я себя. — Какие глупые незапомни!»

Дело в том, что человека, наделенного от природы первыми оценщиками, в ночь под Рождество мучила совесть — событие невероятное и даже фантастическое. Совесть в ссудных кассах имеется только под замком. Здесь она понимается, как предмет продажи и купли, других же функций за неё не признается... Удивительно, откуда она могла у меня виться? Я ворочался с боку на бок на своем жестком сундуке и, щуря глаза от мелькающей лампадки, всеми силами старался заглушить в себе новое, непрощенное чувство. Но старания мои оставались тщетны...

Конечно, тут отчасти было виновато физическое и нравственное утомление после тяжкого, целодневного труда. В канун Рождества бедники ломились в ссудную кассу толпами. В большой праздник и добавок еще в азую погоду бедность не порок, но страшное несчастье! В это время утопающий бедник ищет в ссудной кассе соломинку и получает вместо неё камень... За весь сочельник у нас перебывало столько народа, что три четверти закладов, за немногим местом в кладовой, мы принуждены былинести в сарай. С раннего утра до позднего вечера, то переставая ни на минуту, и торговался с оборвашами, вынимал из них гропи и копейки, глядел слезы, выслушивал напрасные мольбы... К концу дня я еле стоял на ногах: мне могли душа и тело. Немудрено, что я теперь не спал, ворочался с боку на бок и чувствовал себя жутко...

Кто-то осторожно постучался в мою дверь... Вслед за стуком я услышал голос хозяина:

— Вы спите, Петр Демьянович?

— Нет еще, а что?

— Я, знаете ли, думаю, не отворить ли нам завтра рано утром дверь? Праздник большой, а погода влюмят. Беднота нахлынет, как мухи на мед. Так вы уж завтра утром не идите и обядне, а посидите в кассе... Спокойной ночи!

«Мне оттого так жутко, — решил я по уходе хозяина, — что лампадка мелькает... Надо ее потушить...»

Я встал с постели и пошел к углу, где висела лампадка. Синий огонек, слабо вспыхивая и мелькая, видимо боролся со смертью. Каждое мелькание на мгновение освещало образ, стены, узлы, темное окно... А в окне две бледные физиономии, припав к стеклам, глядела в кладовую.

«Никого там нет... — рассудил я. — Это мне предста-
вляется».

И когда я, потушив лампадку, пробирался ощущью и своей постели, пронесшись маленький казус, имевший немалое влияние на мое дальнейшее настроение... Над моей головой вдруг, неожиданно раздался громкий, неистово визжащий треск, продолжавшийся не более секунды. Что-то треснуло и, словно почувствовав страшную боль, громко вззагнуло.

То лопнула на гитаре квинта; я же, охваченный паническим страхом, заткнул уши и, как сумасшедший, спотыкаясь о сундуки и узлы, побежал к постели... Я уткнулся голову под подушку и, еле дыша, замырая от страха, стал прислушиваться.

— Отпусти нас! — выл ветер вместе с вещами. — Ради праздника отпусти! Ведь ты сам бедняк, понимаешь! Сам испытал голод и холод! Отпусти!

Да, я сам был бедняк и знал, что значит голод и холод. Бедность толкнула меня на это проклятое место оценщика, бедность заставила меня ради куска хлеба презирать горе и стезы. Если бы не бедность, разве у меня хватило бы храбости оценивать в гроши то, что стоит здоровья, тепла, праздничных радостей? За что же винят меня ветер, за что терзает меня моя совесть?

Но как ни было мое сердце, как ни терзал меня страх и угрызения совести, утомление взяло свое. Я уснул. Сон был чуткий... Я слышал, как ко мне еще раз стучался хозяин, как ударили и заутрене... Я слышал, как выл ветер и стучал по кровле дождь. Глаза мои были закрыты, но я видел вещи, витрину, темное окно, образ. Вещи толпились вокруг меня и, мигая, просили отпустить их домой. На гитаре с изнемогом одна за другой лопались струны, лопались без конца... В окно глядела нищая, старуха, проститутки, ожидали, пока я откопру ссуду и возвращу им их вещи.

Слышал я сквозь сон, как что-то заскребло, как мыши. Скрепло долго, монотонно. Я заворочался и съежился, потому что на меня сильно подуло холодом и сыростью. Натягивая на себя одеяло, я слышал шорох и человеческий шепот.

«Какой нехороший сон! — думал я. — Как жутко! Приснуться бы».

Что-то стеклянное упало и разбилось. За витриной мелькнул огонек, и на потолке засиял свет.

— Не стучи! — послышался шепот. — Разбудишь того Ирода... Спим сапоги!

Кто-то подошел к витрине, взглянул на меня и потрогал висячий замочек. Это был бородатый старик с бледной, испитой физиономией, в порванном солдатском сюртучике и в спорнях. К нему подошел высокий худой парень с ужасно длинными руками, в рубахе на выпуск и в короткой рваной жакетке. Оба они что-то пошептали и завозились около витрины.

«Грабят!» — мелькнуло у меня в голове.

Хотя я спал, но помнил, что под моей подушкой всегда лежал револьвер. И тихо нашупал его и сжал в руке. В витрине звякнуло стекло.

— Тише, разбудишь. Тогда уколоть придется.

Далее мне снилось, что я вскрикнул грудным, диким голосом и, испугавшись своего голоса, вскочил. Старик и молодой парень, растопырив руки, набросились на меня, но, увидев револьвер, попятились назад. Помнился, что через минуту они

стояли перед мной бледные и, слезливо мигая глазами, умоляли меня отпустить их. В поломанное окно силою ломил ветер и играл пламенем свечки, которую зажгли воры.

— Ваше благородие! — заговорил кто-то под склоном плачущим голосом. — Благодетели вы наши! Милостыни!

Я взглянул на окно и увидел старушечью физиономию, бледную, исхудалую, вымощенную дожде.

— Не трохь их! Отпусти! — плакала она, глядя на меня умоляющими глазами. — Бедность ведь!

— Бедность! — подтвердил старик.

— Бедность! — пропел ветер.

У меня скжилось от боли сердце, и я, чтобы проснуться, зашипал себя. Но вместо того, чтобы проснуться, я стоял у витрины, вынимал из нее вещи и судорожно пихал их в карманы старика и парня.

— Берите скорее! — задыхался я. — Завтра праздник, а вы нищие! Берите!

Набив пищевые карманы, я завязал остальные драгоценности в узел и швырнул их старухе. Подал я в окно старухе шубу, узел с черной шарой, кружевные сорочки и кстати уж и гитару. Бывают же такие странные сны! Засим, помню, затрещала дверь. Точно из земли выросши, представали предо мной хозяин, околоточный, городовые. Хозяин стоит около меня, а я словно не вижу и продолжаю вязать узлы.

— Чтò ты негодий, делаешь?

— Завтра праздник, — отвечаю я. — Надо им есть.

Тут зававас опускается, вновь поднимается, и я вижу новые декорации. Я уже не в кладовой, а где-то в другом месте. Около меня ходит городовой, ставит мне на ночь иружку воды и бормочет: «Ишь ты! Ишь ты! Чтò под праздник задумал!» Когда я проснулся, было уже светло. Дождь уже не стучал в окно, ветер не выл. На стене весело играло праздничное солнышко. Первый, кто поздравил меня с праздником, был старший городовой.

— И с новосельем... — добавил он.

Через месяц меня судили. За что? Я уверял судей, что то был сон, что несправедливо судить человека за кошмар. Судите сами, мог ли я отдать ни с того ни сего чужие вещи ворам и негодиям? Да и где это видано, чтò отдавать вещи, не получив выкупа? Но суд принял сон за действительность и осудил меня. В арестантских ротах, как видите. Не можете ли вы, ваше благородие, замолвить за меня где-нибудь словечко? Ей-богу, не виноват.

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК.

(Сенточный рассказ.)

В ночь под Рождество Ефим Фомич Перекладин, коллежский секретарь, лег спать обиженный и даже оскорблений.

— Отвянишь ты, нечистая сила! — рявкнул он со злобой на жену, когда та спросила, отчего он такой хмурый.

Дело в том, что он только что вернулся из гостей, где сказано было много неприятных и обидных для него вещей. Сначала заговорили о пользе образования вообще, потом же неизменно перешли к образовательному цензу служащей братии, причем было высказано много сожалений, упреков и даже насмешек по поводу низкого уровня. И тут, как это водится во всех российских компаниях, с общих материй перешли к личностям.

— Валить, например, хоть вас, Ефим Фомич, — обратился к Перекладину один юноша. — Вы занимаете приличное место... в какое образование вы получили?

— Никакого-с. Да у нас образование и не требуется, — кротко ответил Перекладин. — Пиши правильно, вот и все...

— Где же это вы правильно писать-то научились?

— Привык-с... За сорок лет службы можно руку набить-с... Оно, конечно, спервоначалу трудно было, делывал ошибки, но потом привык-с... и ничего...

— А знаки препинания?

— И знаки препинания ничего... Правильно ставлю.

— Гм!, — сконфузился юноша. — Но привычка совсем не то, что образование. Мало того, что вы знаки препинания правильно ставите... мало-с! Нужно сознательно ставить! Вы ставите запятую и должны сознавать, для чего ее ставите... да-с! А это ваше бессознательное... рефлексорное правописание и гроша не стоят. Это машинное производство и больше ничего.

Перекладин смолгнал и даже кротко улыбнулся (юноша был сыном статского советника и сам имел право на чин X класса), но теперь, ложась спать, он весь обратился в негодование и злобу.

«Сорок лет служил, — думал он, — и никто меня дураком не называл, а тут, поди ты, какие критики нашлись! «Бессознательно!.. Лейфросторио!.. Машинало производство!».. Ах, ты, черт тебя вонзми! Да и еще, может быть, больше тебя понимаю, даром что в твоих университетах не были!»

Излишне мысленно по адресу критика все известные ему ругательства и согревшись под одеялом, Перекладин стал успокаиваться.

«Я знаю... понимаю... — думал он, засыпая. — Не поставлю там двоеточия, где запятую нужно, стало быть, сознай, понимаю. Да... Так-то, молодой человек... Сначала пожить нужно, послушать, а потом уж стариков судить...»

В закрытых глазах засыпавшего Перекладина сквозь толпу темных, улыбавшихся облаков метегором пролетела огненная запятая. За ней другая, третья, и скоро весь безграничный, темный фон, расстилавшийся перед его воображением, покрылся густыми толщами летавших запятых...

«Хоть эти запятые взять... — думал Перекладин, чувствуя, как его члены сладко немеют от наступившего сна. — Я их отлично понимаю... Для каждой могу место найти, ежели хочешь... и... и сознательно, а не зря... Экзаменуй, и увидишь... Запятые ставятся в разных местах, где надо, где и не надо. Чем пуганнее бумага выходит, тем больше запятых нужно. Ставятся они перед «который» и перед «что». Ежели в бумаге перечислить чиновников, то каждого из них надо запятой отделять... Знаю!»

Золотые запятые завернулись и унеслись в сторону. На их место прилетели огненные точки...

«А точка в конце бумаги ставится... Где нужно большую перышку сделать и на слушателя взглянуть, там тоже точка. После всех длинных мест нужно точку, чтоб секретарь, когда будет читать, слюной не истек. Больше же нигде точка не ставится...»

Опять налетают запятые... Они мешаются с точками, кружатся — и Перекладин видит целое соннище точек с запятой и двоеточий...

«И этих знаю... — думает он. — Где запятой мало, а точки много, там надо точку с запятой. Перед «но» и «следственно» всегда ставлю точку с запятой... Ну-с, а двоеточие? Двоеточие ставится после слов «постановили», «решили»...

Точки с запятой и двоеточия потухли. Наступила очередь вопросительных знаков. Эти выскоцили из облаков и заняли позиции...

«Эха невидаль: знак вопросительный! Да хоть тысяча их, всем место найду. Ставятся они всегда, когда запрос нужно делать или, положим, о бумаге справиться... «Куда отнесен остаток сумм за такой-то год?» или — «Не найдет ли полицейское управление возможным оную Иванову и проч.?»

Вопросительные знаки одобрительно закивали своими крючками и моментально, словно по команде, вытянулись в знаки восклицательные...

«Гм!. Этот знак препинания в письмах часто ставится. «Милостивый государь мой!» или «Ваше превосходительство, отец и благодетель!..» А в бумагах когда?

Восклицательные знаки еще больше вытянулись и остановились в ожидании...

«В бумагах они ставятся, когда... тово... этого... как его? Гм!. В самом деле, когда же их в бумагах ставят? Постой... дай бог память... Гм!..»

Перекладин открыл глаза и повернулся на другой бок. Но не успел он вновь закрыть глаза, как на темном фоне опять появились восклицательные знаки.

«Чорт их возьми... Когда же их ставить нужно? — подумал он, стараясь выгнать из своего воображения непрошенных гостей. — Неужели забыл? Или забыл, или же... никогда их не ставил...»

Перекладин стал припомнить содержание всех бумаг, которые он написал за сорок лет своего служения; но как он ни думал, как ни морщил лоб, в своем прошлом он не нашел ни одного восклицательного знака.

«Что за оказия! Сорок лет писал и ни разу восклицательного знака не поставил... Гм!. Но когда же он, черт длиный, ставится?»

На-за ряда огненных восклицательных знаков показалась ехидно смеющаяся рожа юноши-критика. Сами знаки улыбнулись, и слились в один большой восклицательный знак.

Перекладин встряхнул головой и открыл глаза.

«Черт знает что... — подумал он. — Завтра к утруни вставать надо, а у меня это чертобесие из головы не выходит... Тьфу! Но... когда же он ставится? Вот тебе и привычка! Вот тебе и набил руку! За сорок лет ни одного восклицательного! А?»

Перекладин перекрестился и закрыл глаза, но тотчас же открыл их; на темном фоне все еще стоял большой знак...

«Тьфу! Этак всю ночь не уснешь». — Марфуша! — обратился он к своей жене, которая часто хвасталась тем, что кончила курс в пансионе. — Ты не знаешь ли, душенька, когда в бумагах ставится восклицательный знак?

— Еще бы не знать! Недаром в пансионе семь лет учились. Наизусть всю грамматику помни. Этот знак ставится при обращениях, восклицаниях и при выражениях восторга, негодования, радости, гнева и прочих чувств.

«Так-с... — подумал Перекладин. — Восторг, негодование, радость, гнев и прочие чувства...»

Коллежский секретарь задумался... Сорок лет писал он бумаги, написал он их тысячи, десятки тысяч, но не помнит ни одной строки, которая выражала бы восторг, негодование или что-нибудь в этом роде...

«И прочие чувства... — думал он. — Да нешто в бумагах нужны чувства? Их и бесчувственный писать может...»

Рожа юноши-критика опять выглянула из-за огненного знака и ехидно улыбнулась. Перекладин поднялся и сел на кровать. Голова его болела, на лбу выступил холодный пот... В углу ласково теплилась лампадка, мебель глядела празднично, чистенько, от всего так и веяло теплом и присутствием женской руки, но бедному чиноше было холодно, неуютно, точно он заболел тифом. Знак восклицательный стоял уже не в закрытых глазах, а перед ним, в комнате, около женского туалета и насмешливо мигал ему...

— Пишуущая машина! Машина! — шептало привидение, дул на чиновника сухим холодом. — Деревяшка бесчувственная!

Чиновник укрылся одеялом, но и под одеялом он увидел привидение; прильнул лицом к женщине плечу, и из-за плеча

торчало то же самое... Всю ночь промучился бедный Перекладин, но и днем не оставил его привидение. Он видел его во сне: в надеваемых сапогах, в бледечке с чаем, в Станиславе...

«И прочие чувства... — думал он. — Это правда, что никаких чувств не было... Пойду сейчас к начальству расписываться... а разве это с чувствами делается? Так, ари... Поздравительная машина...»

Когда Перекладин вышел на улицу и крикнул павочника, то ему показалось, что вместо павочника подкатил восклицательный знак.

Приди в переднюю начальника, он вместо швейцара увидел тот же знак... И все это говорило ему о восторге, негодовании, гневе... Ручка с пером тоже глядела восклицательным знаком. Перекладин взял ее, обмакнул перо в чернила и расписался:

«Коллежский секретарь Ефим Перекладин!!!»

И ставя эти три знака, он восторгался, негодовал, радовался, кипел гневом.

— Нà тебе! Нà тебе! — бормотал он, надавливая на перо. Огненный знак удовлетворился и исчез.

1885.

ЗЕРКАЛО.

Подновогодний вечер. Нелли, молодая и хорошенькая дочь помещика-генерала, день и ночь мечтающая о замужестве, сидит у себя в комнате и утомленными, полузакрытыми глазами глядит в зеркало. Она бледна, напряжена и неподвижна, как зеркало.

Несуществующая, но винимая перспективы, похожая на узкий, бесконечный коридор, ряд бесчисленных свечей, отражение ее лица, руки, зеркальной рамы — все это давно уже заволоклось туманом и слилось в одно беспредельное, серое море. Море колеблется, мигает, изредка вспыхивает заревом...

Глядя на неподвижные глаза и открытый рот Нелли, трудно понять, спит она или бодрствует, но тем не менее она видит. Сначала видит она только улыбку и мигнове, полное прелесть выражение чьих-то глаз, потом же на колеблющемся, серебристом фоне постепенно проясняются контуры головы, лицо, брови борода. Это он, сущий, предмет долгих мечтаний и надежд. Сущенный для Нелли составляет все: смысл жизни, личное очарование, партеру, судьбу. Вне его, как и на сером фоне, мрак, пустота, бессмыслица. И немудрено поэтому, что, видя перед собою красивую, кротко улыбающуюся голову, она чувствует наслаждение, невыразимо сладкий кошмар, который не передашь ни на словах, ни на бумаге. Далее она слышит его голос, видит, как живет с ним под одной кровлей, как ее жизнь постепене сливается с его жизнью. На сером фоне бегут месяцы, годы... и Нелли отчетливо, во всех подробностях, видит свое будущее.

На сером фоне мелькают картины за партой. Вот видит Нелли, как она в холодную зимнюю ночь стучится к уездному врачу Степану Луничу. За воротами лениво и хрюпко лает старый пес. В докторских окнах потемки. Кругом тишина.

— Ради бога... ради бога! — шепчет Нелли.

Но вот, наконец, скрипит калитка, и Нелли видит перед собой докторскую кухарку.

— Доктор дома?

— Спят-с... — шепчет кухарка в руках, словно боясь разбудить своего барина. — Только-что с эпидемии приехали. Не велено будить-с.

Но Нелли не слышит кухарки. Отстранив ее рукой, она, как сумасшедшая, бежит в докторскую квартиру. Пробежав несколько темных и душных комнат, свалив на пути два-три стула, она, наконец, находит докторскую спальню. Степан Лунич лежит у себя в постели одетый, но без сюртука и, вытянув губы, дышит себе на ладонь. Около него слабо светит ночник. Нелли, не говоря ни слова, садится на стул и начинает плакать. Плачет она горько, всдрагивая всем телом.

— Му... муж болен! — выговаривает она.

Степан Лунич молчит. Он медленно поднимается, поднимает голову кулаком и глядит на гостью сонными, неподвижными глазами.

— Муж болен! — продолжает Нелли, сдерживая рыдания.

Ради бога, поедемте... Скорее... как можно скорее!

— А? — мычит доктор, дуя на ладонь.

— Поедемте! И сию минуту! Иначе... иначе... страшно выговорить... Ради бога!

И бледная, измученная Нелли, глотая слезы и задыхаясь, начинает описывать доктору внезапную болезнь мужа и свой невыразимый страх. Страдания ее способны тронуть камень, но доктор глядит на нее, дует себе на ладонь и — ни с места.

— Завтра приеду... — бормочет он.

— Это невозможно! — пугается Нелли. — Я знаю, у мужа... тиф! Сейчас... сию минуту вы нужны!

— Я тово... только-что приехал... — бормочет доктор. — Грипп на эпидемию ездил. И утомлен, и сам болен... Абсолютно не могу! Абсолютно! Я... я сам заразился... Вот!

И доктор сует к глазам Нелли максимальный термометр.

— Температура к сорока идет... Абсолютно не могу! Я... я даже сидеть не в состоянии. Простите: лягу...

Доктор ложится.

— Но я прошу вас, доктор! — стонет в отчаянии Нелли. — Умоляю! Помогите мне, ради бога. Соберите все ваши силы и поедемте... Я заплачу вам, доктор!

— Боже мой... да ведь я уже сказал вам! Ах!

Нелли вскакивает и нервно ходит по спальне. Ей хочется объяснить доктору, втолковать.... Думается ей, что если бы он

нал, как дорог для нее муж; и как она несчастна, то забыл бы и утомление, и свою болезнь. Но где взять красноречия?

— Поезжайте к земскому доктору... — слышит она голос Степана Лукича.

— Это невозможно!.. Он живет за двадцать пять верст отсюда, а время дорого. И лошадей нехватит: отсюда сорок верст, да отсюда к земскому доктору почти столько... Нет, это невозможно! Поедемте, Степан Лукич! Я подвига прошу. Ну, совершил вы подвиг! Скальтесь!

— Чорт знает что... Тут жар... дурь в голове, а она не понимает. Не могу! Отстаньте.

— Но вы обязаны ехать! И не можете вы не ехать! Это оголошено! Человек для ближнего должен жертвовать жизнью, а вы... вы отказываетесь поехать!.. И в суд на вас подам!

Нелли чувствует, что говорит обидную и незаслуженную ложь, но для спасения мужа она способна забыть и логику, и такт, и сострадание к людям... В ответ на ее угрозу доктор с жадностью выпивает стакан холодной воды. Нелли начинает опять умолять, взывать к состраданию, как самая последняя идиотка... Наконец доктор сдается. Он медленно поднимается, отдувается, криктишь и ищет свой сюртук.

— Вот он, сюртук! — помогает ему Нелли. — Позвольте, я его на вас надену... Вот так. Едемте. Я вам заплачу... всю жизнь буду признательна...

Но что за муж! Надевши сюртук, доктор опять ложится. Нелли поднимает его и тащит в переднюю... В передней долгая, мучительная воинка с налошами, шубой... Пропада шапка... Но вот, наконец, Нелли сидит в экипаже. Возле нее доктор. Теперь остается только проехать сорок верст, и у ее мужа будет медицинская помощь. Над землей висит тьма: эти не видно... Дует холодный зимний ветер. Под колесами мерзлые почки. Кучер то и дело останавливается и раздумывает, какой дорогой ехать...

Нелли и доктор всю дорогу молчат. Их трясет ужасно, но они не чувствуют ни холода, ни тряски.

— Гони! Гони! — просит Нелли кучера.

К пяти часам утра замученные лошади въезжают во двор. Нелли видит знакомые ворота, колодец с изурившим, длинным рядом конюшеми и сараев. Наконец она дома.

— Погодите, я сейчас... — говорит она Степану Лукичу, сажая его в столовой на диван. — Остыньте, а я пойду посмотрю что с ним.

Вернувшись через минуту от мужа, Нелли заставляет доктора лежаком. Он лежит на диване и что-то бормочет.

— Пожалуйте, доктор... Доктор!

— А? Спросите у Домны... — бормочет Степан Лукич.

— Что?

— На съезде говорили... Власов говорил... Кого? Чго?

И Нелли, к великому своему ужасу, видит, что у доктора такой же бред, как и у ее мужа. Что делать?

— К генскому врачу! — решает она.

Засек следуют опять потемки, резкий, холодный ветер, мерзлые почки. Страдает она и душою, и телом, и чтобы уплатить за эти страдания, у обманщицы-природы не хватит никаких средств, никаких обманов...

Видит далее она на сером фоне, как муж ее каждую весну платит денег, чтобы уплатить проценты в банк, где заложено имение. Но спит он, не спит она, и оба до боли в мозгу думают, как бы избежать визита судебного пристава.

Видит она детей. Тут вечный страх перед простудой, скрапливат, дифтеритом, единицами, реалуной. Из пяти-шести на рапузов извернное умрет один.

Серый фон не свободен от смертей. Оно и понятно. Муж и жена не могут умереть в одно время. Один из двух, во что бы то ни стало, должен пережить похороны другого. И Нелли видит, как умирает ее муж. Это страшное несчастье представляется ей во всех своих подробностях. Она видит гроб, свечи, дынка и даже следы, которые оставил в передней гробщик.

— К чему это? Для чего? — спрашивает она, тупо глядя в лицо мертвого мужа.

И вся предыдущая жизнь с мужем кажется ей только глупым, ненужным предисловием к этой смерти.

Что-то падает из рук Нелли и стучит о пол. Она вздрогивает, вскакивает и широко раскрывает глаза. Одно зеркало, сидит она, лежит у ее ног, другое стоит попрежнему на столе. Она смотрится в зеркало и видит бледное, заплаканное лицо. Серого фона уже нет.

«Я, кажется, уснула...» — думает она, легко задыхая.

1885.

К СВЕДЕНИЮ МУЖЕЙ.

(Научная статья.)

По мере того, как прогрессировала человеческая мысль, сте с другими насущными вопросами разрабатывались и способы покорения чужих идей. Эти способы могут служить прекрасным мерилом человеческого развития. Чем тоньше и циничнее способ, тем совершеннее человек — и наоборот. Остались в стороне способы, которые употребляются австралийским дикарями и московским купечеством, все ныне употребляемые способы легко можно подвести под несколько определенных типов.

Самый обычный и употребительный — это старый способ, известный добродетельным людям по романам. Тут на первом

А. Н. Чехов. Собр. соч., том IV.

плано томное выражение лица, загадочно-изгущий взор, пропажание, «понимание друг друга без слов», просиживание по целым часам рядом на диване, романсы, записочки и прочая канитель. Барыня «терпит» около себя подыхателя, смеется над ним вместе с мужем, но уехал муж — чичисей, не зевай: барыни «фатальное» падает и просит никому не говорить. Этот способ очень любим и поощряется барышнями лет 26—35. Он легонько, а потому и употребляется чаще всего людьми неприветственными, юными и нищими духом. В большом ходу он у младших женских чиновников, мелких изезднодорожников и отставных юнкеров.

Способ куклоное. Тут измена бывает не преднамеренная. Она происходит без предисловий, без приготовлений, а нечаянно сама собою, где-нибудь на даче, или в карете, под влиянием неосторожно выпитого шампанского, или чудной, лунной ночи.

Способ по теории нижней братии: просят и даются вам. Не спрашиваешь, нравитесь вы ей, или нет, вы с первого же общуга начинаете приставать к ней как банный лист, как ренейчик... Вы не отходите от нее ни на один шаг и в этом отношении соперничаете с ее тенью: она от вас, вы за неей. Комплименты, любезности, объяснения в любви — ваша рать. Вы умоляете, клянитесь, обещаете застрелиться... Вам смеются в лицо, нас отталкивают, презирают, пугают гневом мужа, но, тем не менее вы смело идете дальше. Улучши удобную минутку, вы падаете на колени, прижимаетесь к ее руке... Она вспыхивает, плюст, бьет вас по щеке, но вы не идете вспять... Как истый нищий вы продолжаете подавать ей шубку, прислуживать за ужином, заглядывать умоляюще в глаза... Вам, изюмец, грубо отказывают от дома. Но и это не беда. У вас еще в запасе бомбардировка письмами и подсыпка третьих лиц. И к тому же, где бы она ни была, вне дома она всюду видит вас: в театре, на скачках, в собрании... «Подайте милостыньку!» умоляют ее ваши глаза. И так далее. Проходит полгода, год... И скрипят трогаются. В конце концов к нам или призывают, или же подают нам милостыню для того только, чтобы отвягаться... Главное, нужно помнить, что aqua eavat lapidem non vi, sed aere oadendo.

Способ ошеломляющий, когда вы берете жену приступом, во что бы то ни стало, не жалея ни смелости, ни нахальства. Тут действуете вы изнадчу, на пролом и... если не выпадите из окна третьего этажа, или не сломаете шеи, кувыркаясь вниз по крутой лестнице, то вас можно поздравить с полным успехом. Женщины вообще не против ошеломляющих моментов.

Способ à la граф Нулин, нередко практикуемый прошлыми поручиками и адвокатами, едущими на съезд мировых судей. Из 100 случаев не удаются только 5, да и то по незнанию от редакции обстоятельствам.

Способ тонкий. Самый умный, схиный и самый опасный для мужей. Понятен он только психологам и занятиям женского сердца. По этому способу вы, помория чью-нибудь жену, держите себя как можно дальше от нее. Потчуваю вас и не влечь, род недуга, вы перестаете быть у нее, встречаетесь с ней возможно реже, мельком... Тут вы действуете на расстоянии. Все дело в некоторого рода гипнозации.

Она не должна видеть, но должна чувствовать вас, как кролик чувствует взгляд удава. Гипнотизируете вы ее не взглядом, а ядом вашего языка, при чем самой лучшей передаточной проволокой может служить сам муж...

Вот вы встречаете мужа где-нибудь в клубе; или, в театре...

— А как понимает ваша супруга? — спрашиваете вы его между прочим. — Милейшая женщина! Ужасно она мне нравится. То есть, чорт знает, как нравится!

— Гы... Чем же это она вам так понравилась? — спрашивают добольный супруг.

— И вы еще спрашиваете?: Предоставленное, поэтическое соединение... Вирочем, вы, мужья, прозваны, не понимаете!. И помните, что это идеальная женщина! Я радуюсь за вас! Таких-то именно в наше время и нужно женщин! Именно таких! Красавица, полна жизни и пряди, искренняя и в то же время загадочная. Такие женщины, если полюбят, то уж любят сильно, всем пылом... и проч.

Супруг в тот же день, ложась спать, не утерпел, чтобы не сказать жене:

— Видел я Петра Иваныча... Ужасно тебя расхваливал. И красавица ты, и загадочная... и будто любить ты способна както особенно... С три короба наговорил... Ха-ха...

Немного спустя вы опять иоровите встретиться с супругом.

— Кстати, милый мой... — говорите вы ему. — Звонил ко мне вчера один художник... Получил он от какого-то князя заказ: написать за 2 000 руб. головку типичной русской красавицы. Просил поискать для него натурщицы. Хотел было я направить его к вашей жене, да постеснился... А ваша жена как раз бы подошла. Предвестница головки!

Нужно быть слишком нелюбезным супругом, чтобы не передать этого жене. Утром жена долго глядится в зеркало и думает:

«Откуда он взял, что у меня чисто русское лицо?!»

После этого, заглядывая в зеркало, она всякий раз думает о вас. Между тем начинные встречи ваши с ее мужем продолжаются. После одной из встреч, муж приходит домой и начинает осматриваться в лицо жены.

— Что ты вглядываешься? — спрашивает она.

— Да тот чудак, Петр Иваныч, нашел, что будто у тебя один глаз темнее другого. Не потому этого, хоть убей!

Жена опять к зеркалу.

— Видел в театре Петра Иваныча, — говорит муж после восьмой или девятой встречи. — Просил женщины, что не может заехать к тебе: никогда! Чудак, «богу! Принесло ко мне, как с ионом к горлу: отчего ваши женщины на сцену не поступают? С этакой, говорит, наружностью, с таким румянцем и блеском чувствовать грехно жить дома! Ха-ха... Давай ты ему! Не будь, говорит, я занят, отбил бы и у вас ее... Что же, говорю, отбивайте... Вы, говорит, не понимаете ее! Ее знает мужик! Это, говорит, натура педионичная, ищущая выхода! Ха-ха... Ну, думаю, пожил бы ты с ней, так другое бы заслал...

И бедной женой постепенно создается страшная манда встречи с вами. Вы единственный человек, который сошел ее, и только вам может она рассказать многое... очень многое! Но вы упорно не едете и не попадаетесь ей на глаза. Не видела она вас давно, но ваш мучительно-сладкий яд уже отравил ее. Муни, зевая, передает ей ваши слова, а ей кажется, что она слышит вас, видит блеск ваших глаз...

Наступает пора ловить момент. В один из вечеров приходит муж домой и говорит жене:

— Встретил я сейчас Петра Иваныча... Случай такой... Жалуется, что тоска одолела. С тоски, говорит, и домой не хому, всю ночь по Н-скому бульвару гуляю... Чудак!

Жена вся в януру... Ей страшно хотелось бы пойти на Н-ский бульвар и взглянуть хоть одним глазом на человека, который сумел так понять ее и который теперь почему-то в тоске. Кто знает? Поговори она теперь с ним, скажи ему слова два утешения, быть может, он перестал бы страдать...

«Но это дико... невозможно», — думает она.

Дождавшись, когда уснет муж, она поднимает свою горячую голову, прикладывает пальцы к губам и думает. Что, если она рискнет выйти сейчас из дому? После можно будет сорвать что-нибудь, сказать, что она бегала в аптеку, к зубному врачу...

— Пойду! — решает она.

План у нее уже готов: до бульвара на извозчике, на бульваре она пройдет мимо него, взглянет и позад... Этим она не скомпрометирует ни себя, ни мужа... И она одевается, тихо выходит из дома и спешит к бульвару. На бульваре темно, пустынно... Но вот она видит чей-то силуэт. Это, должно быть, он... Дрожа всем телом, медленно приближается она к нему... вы идете к ней... Минуту вы стоите молча и глядите друг другу в глаза... Проходит еще минута молчания и... кролик беззастенчиво падает в пасть удава.

1885.

НОВОГОДНИЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ.

На улицах картина ада в золотой раме. Если бы не праздничное выражение на лицах дворников и городовых, то можно было бы подумать, что к столице подступает неприятель. Взгляд

и вперед, с треском и шумом снуют парадные сани и нареты... На тротуарах, высунув языки и тараща глаза, бегут визитеры... Бегут они с таким авартом, что, ухвати жена Петрефрия какого-нибудь бегущего коллежского регистратора за фалду, то у нее в руках осталась бы не одна только фалда, но весь чиновничий бок с печенками и с селезенками...

Вдруг слышится пронзительный полицейский свист. Что случилось? Дворники отрываются от своих позиций и бегут к «истине»...

— Радуйтесь! Идите дальше! Нечего вам здесь глядеть! Мертвых людей никогда не видали, что ли? Наррод...

У одного из подъездов на тротуаре лежит прилично одетый человек в бобровой шубе и новых резиновых калошах... Возле его мертвяки-бледного, свеже-вымбритого лица всплюются разбитые очки. Шуба на груди распахнулась, и собравшаяся толпа видит кусочек фрака и Станислава третьей степени. Грудь медленно и тяжело дышит, голова закрыта...

— Господин! — толкает городовой чиновника. — Господин, не велено тут лежать! Ваше благородие!

Но господин — ни гласа, ни вздохания... Позвавшишься о нем минут пять и не приведя его в чувство, блюстители кладут его на извозчика и везут в приемный покой...

— Хорошие штаны! — говорит городовой, помогая фельдшеру раздеть больного. — Должно, рублей шесть отдадут. И из-за этого ловили... Ежели по штанам судить, то из благородных...

В приемном покое, полежав часа полтора и выпив целую склянку валерьяны, чиновник приходит в чувство... Узнают, что он титулярный советник Герасим Куяльчик Синилетев.

— Что у вас болит? — спрашивает его полицейский врач.

— С новым годом, с новым счастьем... — бормочет он, тупо глядя в потолон и тяжело дыша.

— И вас также! Но... что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка! Вы пили что-нибудь?

— Не... нет...

— Но отчего же вам дурно сделалось?

— Ошибел-ся... Я... и визиты делал...

— Много, стало быть, визитов сделали?

— Не... нет, не много-ся... От обедни пришел... выпил и что-то и пошел к Николаю Михайличу... Тут, конечно, расписался... Оттуда пошел на Офицерскую... к Качалкину... Тут тоже расписался... Еще, помню, тут в передней меня скворицником продул... От Качалкина на Выборгскую сходил, к Ивану Иванычу... Расписался...

— Еще одного чиновника привезли! — докладывает городовой.

— От Ивана Иваныча, — продолжает Синилетев, — к купцу Хрымову рукой подать... Зашел поздравить... с семейством... Предлагают выпить для праздника... А как не выпить?

Обидиши, коли не выпьешь... Ну, выпил рюмки три... колбасой закусил... Оттуда на Петербургскую сторону к Лиходееву... Хороший человек...

— И все пешком?

— Пешком-с... Расписался у Лиходеева... От него пошел к Пелагеи Емельяновне... Тут завтракать посадили и кофеем попотчевали. От кофею распарился, оно, должно быть, в голову и ударило... От Пелагии Емельяновны пошел к Облеухову... Облеухова Василием звать, именинник... Не съешь именинного пирога, обидишь...

— Отставного военного и двух чиновников привезли! — докладывает городовой...

Съел кусок пирога, выпил рябиновой и пошел на Садовую к Изюмову... У Изюмова холодного пива выпил... в горло ударил... От Изюмова к Кошкину, потом к Карлу Карлычу... оттуда к дяде Петру Семенчу... Племянница Настя шоколадом попоила... Потом к Ляпину зашел... Нет, вру, не к Ляпину, а к Дарье Никодимовне... От нее уж к Ляпину пошел... Ну-с, и везде хорошо себя чувствовал... Потом у Иванова, Курдюкова и Шиллера был, у полковника Порошкова был, и там себя хорошо чувствовал... У купца Дуныкина был... Пристал ко мне, чтоб я косяк пил и сосиски с капустой л... Выпил я рюмки три... пару сосисок съел — и тоже ничего... Только уж потом, когда от Рыжова выходил, почувствовал в голове... мерцание... Ослабел... Не знаю, отчего...

— Вы утомились... Отдохните нечего, и мы вас домой отправим...

— Нельзя мне домой... — стоит Сниклетеев. — Нужно еще к зятю Куяльме Бавильчу сходить... к знахарству, к Наталье Егоровне... У многих и еще не было...

— И не следует ходить.

— Нельзя... Как можно с новым годом не поздравить? Нужно-с... Не сходи к Наталье Егоровне, так ишь не захочешь... Уж вы меня отпустите, г. доктор, не невольте...

Сниклетеев поднимается и танется к оденде.

— Домой езжайте, если хотите, — говорит доктор, — но о визитах вам думать даже нельзя...

— Ничего-с, бог поможет... — вздыхает Сниклетеев. — Я потихонечку пойду...

Чиновник медленно одевается, кутается в шубу и, пошатываясь, выходит на улицу.

— Еще пятерых чиновников привезли! — докладывает городовой. — Куда прикажете положить?

ХУДОЖЕСТВО.

Хмурое зимнее утро.

На гладкой и блестящей поверхности речки Быстришки, кое-где посыпанной снегом, стоят два мужика: куцый Сережка и черноволосый сторож Матвей. Сережка, малый лет тридцати, коротконогий, оборванный, весь облезлый, сердито глядит на лед. Из его поношенного полушибуна, словно на липающем псе, отщесают ключи шерсти. В руках он держит циркуль, сделанный из двух длинных спиц. Матвей, благообразный старик, в новом тулупе и валенках, глядит проникными голубыми глазами наверх, где на высоком, отлогом берегу живописно ютится село. В руках у него тяжелый лом.

— Что ж, это мы до вечера так будем стоять, скажи руки? — прерывает молчание Сережка, вскидывая свои сердитые глаза на Матвея. — Ты стоять сюда пришел, старый шут, или работать?

— Так ты тово... показывай... — бормочет Матвей, кротко мигая глазами.

— Показывай... Все я: я и показывай, я и делай. У самих ума нет! Мерять чиркулем, вот нужно что! Не вымеривши, нельзя лед ломать. Мерий! Бери чиркуль!

Матвей берет из рук Сережки циркуль и неумело, топчась на одном месте и тыча во все стороны локтями, начинает выводить на льду окружность. Сережка прерательно щурит глаза и видимо наслаждается его застенчивостью и невежеством.

— Э-э-э! — сердится он. — И того уж не можешь! Сказано, мужик глупый, деревенщина! Тебе гусей пасти, а не Иордань делать! Дай сюда чиркуль! Дай сюда, тебе говорю!

Сережка рвет из рук беспечевшего Матвея циркуль и в одно мгновение, молодцовато повернувшись на одном каблучке, чертит на льду окружность. Границы для будущей Иорданы уже готовы; теперь остается только колоть лед...

Но прежде чем приступить к работе, Сережка долго еще ломается, напрягаясь, непрекращает:

— Я не обязан на вас работать! Ты при церкви служишь, ты и делай!

Он видимо наслаждается своим обособленным положением, в какое поставил его теперь судьба, давшая ему редкий талант — удивлять раз в год весь мир своим искусством. Бедному, искроме которому Матвею приходится излучать от него много ядовитых, презрительных слов. Принимается Сережка за дело с досадой, с сердцем. Ему лень. Не успел он начертить окружность, как это уже тянут наверх, в село, пить чай, шататься, пустослововать.

— Я сейчас приду... — говорит он, закуривая. — А ты тут пока, чем так стоять и считать ворон, принес бы на чем сесть, да подмети.

Матвей остается один. Воздух сер и неласков, но тих. Из-за разбросанных по берегу изб приветливо выглядывает белая церковь. Около ее золотых крестов, не переставая, кружатся галки. В сторону от села, где берег обрывается и становится крутым, над самой кручей стоит спутанная лошадь неподвижно, как каменная — должно быть, спит, или задумалась.

Матвей стоит тоже неподвижно, как статуя, и терпеливо идет. Задумчиво-сонный вид реки, круженье галок и лошадь нагоняют на него дремоту. Проходит час, другой, а Сережки все нет. Давно уже река подметена и принесен ящик, чтоб сидеть, а пынчуга не показывается. Матвей идет и только повезывает. Чувство скучи ему незнакомо. Прикажут ему стоять на реке день, месяц, год, и он будет стоять.

Наконец Сережка показывается из-за изб. Он идет в ревалку, еле ступая. Итти далеко, лень, и он спускается не по дороге, а выбирает короткий путь, сверху вниз по прямой линии, и при этом взлетает в снегу, цепляется за кусты, ползет на спине — и все это медленно, с остановками.

— Ты что же это? — набрасывается он на Матвея. — Что без дела стоишь? Когда же колоть лед?

Матвей простился, берет в обе руки лом и начинает колоть лед, строго придерживаясь начертанной окружности. Сережка садится на ящик и следит за тяжелыми, неуклюжими движениями своего помощника.

— Легче у краев! Легче! — командует он. — Не умеешь, так не берись, а коли взялся, так делай! Ты!

Наверху собирается толпа. Сережка, при виде зрителей, еще больше волнуется!

— Возьму и не стану делать... — говорит он, закуривая военную папиросу и сплевывая. — Погляжу, как вы без меня тут. В прошлом году в Костюково Степка Гульков взялся по моему Иордань строить. И что же? Смах один лышил. Костюковение к нам же и пришли — видимо-невидимо! Извея деревень народу навалило.

— Потому окромя нас нигде настоящей Иордань...

— Работай, никогда разговаривать... Да, дед... Во всей губернии другой такой Иордань не найдешь. Солдаты сказывают, поди-на поиски, в городах даже хуже. Легче, легче!

Матвей прихитит и отдувается. Работа не легкая. Лед крепок и глубок; нужно его скалывать и тотчас же уносить куски далеко в сторону, чтобы не загромождать площади.

Но как ни тяжела работа, как ни бестолкована команда Сережки, к трем часам дня на Быстрище уже темнеет большой водяной круг.

— В прошлом году лучше было... — сердится Сережка. — И этого даже ты не мог сделать! Э, голова! Держат же таких дураков при храме божием! Ступай, доску принеси колышки

делать! Неси круг, ворона! Да того... хлеба захвати где-нибудь... огурцов, что ли.

Матвей уходит и, немного погодя, приносит на плечах громадный деревянный круг, покрашенный еще в прежние годы, с разноцветными узорами. В центре круга красный крест, по краям дырочки для колышков. Сережка берет этот круг и закрывает им прорубь.

— Как раз... годится... Подновим только краску и за первый сорт... Ну, что ж стоишь? Делай аналой! Или того... ступай бревна принеси, крест делать...

Матвей, с самого утра ничего не евший и не пивший, опять плетется на гору. Как ни ленив Сережка, но колышки он делает сам, собственоручно. Он знает, что эти колышки обладают чудодейственной силой: кому достанется колышек после водосвятия, тот весь год будет счастлив. Такая ли работа неблагодарна?

Но самая настоящая работа начинается со следующего дня. Тут Сережка являет себя перед невежественным Матвеем во всем величии своего таланта. Его болтовни, попрекам, капризам и прихотям нет конца. Сколачивает Матвей из двух больших бревен высокий крест, он недоволен и велит переделывать. Стоит Матвей, Сережка сердится, отчего он не идет; он идет, Сережка кричит ему, чтобы он не шел, а работал. Не удовлетворяют его ни инструменты, ни погода, ни собственный талант; ничего не нравится.

Матвей вышиливает большой кусок льда для аналова.

— Зачем же ты уголок отшиб? — кричит Сережка и злобно таращит на него глаза. — Зачем же ты, я тебя спрашиваю, уголок отшиб?

— Прости, Христа ради.

— Делай сызнова!

Матвей пытит снова... и нет конца его мукам! Около проруби, покрытой изукрашенным кругом, должен стоять аналой; на аналозе нужно выточить крест и раскрытое евангелие. Но это не все. За аналозом будет стоять высокий крест, видимый всей толпе и играющий на солнце, как осыпанный алмазами и рубинами. На кресте голубь, выточенный из льда. Путь от церкви к Иорданю будет посыпан елками и можжевельником. Такова задача.

Прежде всего Сережка принимается за аналой. Работает он терпугом, долотом и шилом. Крест на аналое, евангелие и епитрахиль, спускающаяся с аналоя, удаются ему вполне. Затем приступает к голубю. Пока он старается выточить на лице голубя кротость и смиренномудрие, Матвей, поворачиваясь, как медведь, обделяет крест, сколоченный из бревен. Он берет крест и окунает его в прорубь. Дождавшись, когда вода замерзнет на кресте, он окунает его в другой раз, и так до тех пор, пока бревна не покроются густым слоем льда... Работа не легкая, требующая и избытка сил, и терпения.

Но вот тонкая работа кончена. Сережка бегает по селу, как угольный. Он спотыкается, бранится, клянется, что сейчас

пойдет на реку и сломает всю работу. Это он пишет подводящих красок.

Карманы у него полны охры, синих, суринка, медянки; не заплатив ни копейки, он опрометью выбегает из одной лавки и бежит в другую. Из лавки рукой подать в избен. Тут выпьет, махнет рукой и, не заплатив, летит дальше. В одной избе берет он склоничных бураков, в другой луковичной шалухи, из которой делают он желтую краску. Он бранится, толкается, грохает и... хоть бы одна живая душа огрызнулась! Все улыбаются ему, сочувствуют, величают Сергеем Никитичем, все чувствуют, что художество есть не его личное, а общее, народное дело. Один творит, остальные ему помогают. Серенка сам по себеничто: лентяй, пьяница и мот, но когда он с суринком или циркулем в руках, то еще уже нечто выше, боязливый слуга.

Настает прещественное утро. Церковная ограда и оба берега на далеком пространстве изнанят народом. Все, что составляет Иордань, старательно сырто под новыми рогонами. Серенка смирило ходит около рогонов и старается побороть волнение. Он видит тысячи народа: тут много и из чужих приходов; все эти люди в мороз, по снегу прошли не мало верст пошлют только затем, чтобы увидеть его знаменитую Иордань. Матвей, который кончил свое чернорабочее, медвежье дело, уже опять в церкви; его не видно, не слышно; про него уже забыли... Погода прекрасная... На небе ни облака. Солнце светит осенепитительно.

Наверху раздается благовест... Тысячи голов обнажаются, движутся тысячи руки, — тысячи крестильных знамений!

И Серенка не знает, куда деваться от нетерпения. Но вот, наконец, звонят к «Достоинству»; затем, полчаса спустя, на колокольне и в толпе заметно какое-то волнение. Из церкви одну за другую выносят хоругви, раздается бойкий, спешащий трезвон. Серенка дрожащей рукой сдергивает рогони... и народ видит нечто необычайное. Аналои, деревянный круг, колышки и крест на льду переливаются тысячами красок. Крест и голубь испускают из себя такие лучи, что смотреть больно... Боже милостивый, как хорошо! В толпе пробегает гул удивления и восторга; трезвон делается еще громче, день еще яснее. Хоругви колышатся и двигаются над толпой, точно по волнам. Крестный ход, сияя ризами икон и духовенства, медленно сходит вниз по дороге и направляется к Иорданю. Машут колокольные руками, чтобы там перестали звонить, и водосвятие начинается. Служат долго, медленно, индово стараясь, продлить торжество и радость общей народной молитвы. Тишина.

Но вот погружают крест, и воздух оглашается необыкновенным гулом. Пальба из ружей, трезвон, громкие выражения восторга, крики и давка в погоне за колышками. Серенка прилучивается к этому гулу, видит тысячи устремленных на него глаз, и душа лентяя наполняется чувством славы и торжества.

НОЧЬ НА КЛАДБИЩЕ.

(Сенточный рассказ.)

— Расскажите, Иван Иваныч, что-нибудь страшное! Иван Иваныч покрутил ус, измазнул, причмокнул губами и, придвинувшись к барышникам, начал:

— Рассказ мой начинается, как начинаются вообще все лучшие русские сказания: был я, признаюсь, вынужден... Встречал я новый год у одного своего старишего приятеля и наливалась, как горючий тысяч братьев. В свою оправдание должен я сказать, что напился я и вовсе не от радости. Радоваться такой чепухе, как новый год, по моему мнению, пелено и недостойно человеческого разума. Новый год танал же дрянь, изан и старый, с тобою только различаю, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже... По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем позже год, тем ближе к смерти, тем обширнее плеши, изъязвленнее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег...

Итак, напился я с горя... Когда я вышел от приятеля, то соборные часы пробили ровно два. Погода на улице столла поднейшая... Сам чорт не разберет, была то зима или осень. Темнота кругом такая, что хоть глаза выколи: глядишь-глядишь и ничего не видишь, словно тебя в жестину с ванкой посадили. Порол дождь... Холодный и резкий ветер выводил ужасные потги; он вил, плакал, стонал, визжал, точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. Под ногами жалобно всхлипывала слякоть; фонами глядела тушила, изан заплаканные идовы... Бедная природа перекинула фрилрих-геркус... Короче, была погода, которая порадовалась бы тать и разбойнику, но не я, смиренный и пьяненький обычатель. Меня поверила она в грустное настроение...

Жиань — канитель... — философствовал я, плевая по груди и пошатываясь. — Пустое бесцветное произведение... мираж... Дни идут за днами, годы за годами, а ты все танал же скотина, как и был... Пройдут еще годы, и ты останешься все тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим... В конце концов, закопают тебя, болвана, в могилу, поедут на твой счет поминальных блинов и сканут: хороший был человек, но жалко, подлец, мало денег оставил!..

Шел я с Мещинской на Пресню — дистанция для выпившего почтенная... Пробирался по темным и узким переулкам, я не встретил ни одной живой души, но услыхал ни одного живого звука. Боясь набрать в палочки, я сначала шел по тротуару, потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои наленичики жалобно всхлипывали, я свернул на дорогу: тут меньше шансов наткнуться на тумбу или свалиться в канаву...

Мой путь был окутан холодной, непроницаемой тьмой; сначала я встречал по дороге тускло горящие фонари, потом же, когда я прошел два-три переулка, исчезло и это удобство. Приходилось пробираться ощущая... Глядываясь в потемки и слыша над собой жалобный вой ветра, я торопился... Душу мою постепенно наполнил неизъяснимый страх... Этот страх обратился в ужас, когда я стал замечать, что я заблудился, сбился с пути.

— Извозчик! — закричал я.

Ответа не последовало... Тогда я поренял итти прямо, куда глаза глядят, аря, в надежде, что рано или поздно я выбуду на большую улицу, где есть фонари и извозчики. Не оглядываясь, боясь взглянуть в сторону, я побежал... Навстречу мне дул ревкий, холодный ветер, в глаза хлестал крупный дождь... То я бежал по тротуарам, то по дороге... Как уцепал мой лоб после частых прикосновений к тумбам и фонарным столбам, мне решительно непонятно.

Иван Иваныч выпил рюмку водки, покрутил другой ус и продолжал:

— Не помню, как долго я бежал... Помню только, что, в конце концов, я споткнулся и сильно ударился о какой-то странный предмет... Видеть его я не мог, а ссыавши, я получил изпечатление чего-то холодного, мокрого, гладко ошифованного... Я сел на него, чтобы отдохнуть... Не стану злоупотреблять вашим терпением, а скажу только, что когда, немножко спустя, я взял спичку, чтобы закурить папиросу, я увидел, что я сижу на могильной плитке...

Я, не видевший тогда вокруг себя ничего, кроме тьмы, и не слышавший ни одного человеческого звука, увидев могильную плиту, в ужасе закрыл глаза и вскочил... Сделав шаг от плиты, я наткнулся на другой предмет... И представьте мой ужас! Это был деревянный крест...

— Боже мой, я попал на кладбище! — подумал я, закрывая руками лицо и опускаясь на плиту. — Вместо того, чтобы итти в Преснин, я побред в Ваганьево!

Не боюсь я ни кладбищ, ни мертвцевов... Свободен я от предрассудков и давно уже отделился от инициальных сказок, но, очутившись среди безмолвных могил темною ночью, когда стонал ветер и в голове бродили мысли одна мрачнее другой, я почувствовал, как волосы мои стали дыбом и по спине разлился внутренний холод...

— Не может быть! — утешал я себя. — Это оптический обман, галлюцинация... Все это кажется мне оттого, что в моей голове сидят Депре, Баузэр и Арабажи... Труе!

И в то время, когда я бодрил себя таким образом, я услышал тихие шаги... Кто-то медленно шел, но... те были не человеческие шаги... для человека они были слишком тихи и мелки...

— Мертвец, — подумал я.

Наконец, этот таинственный «кто-то» подошел ко мне, коснулся моего колена и задохнулся. Засим я услышал вой... Вой был ужасный, могильный, тянувший за душу... Если вам страшно слушать мишек, рассказывающих про воюющих мертвецов, то каково же слышать самий вой! Я отупел и окаменел от ужаса... Депре, Баузэр и Арабажи выскочили из головы, и от пьяного состояния не осталось и следа... Мне казалось, что если я открою глаза и раскину взглазнуть на тьму, то увижу бледно-желтое, костлявое лицо, полусгнившее саван...

— Боже, хоть бы скорее утро, — молился я...

Но, пока наступило утро, мне пришлось перекинуть одни немыслимые и неподдающиеся списанию ужасы. Сидя на плите и слушая вой обитателя могилы, я вдруг услышал новые шаги... Кто-то, тяжело и морю ступая, шел прямо на меня... Поравнявшись со мной, новый выходец из могилы задохнулся и, минуту спустя, холодная, костлявая рука тяжело опустилась на мое плечо... Я потерял сознание.

Иван Иваныч выпил рюмку водки и крикнул.

— Ну? — спросили его барышни.

— Очнулся я в маленькой квадратной комнате... В единственное, решетчатое оконечко слабо пробивался рассвет... «Ну, — подумал я, — это, значит, меня мертвцы и себе в склеп затаскивают...» Но какова была моя радость, когда я услышал за стеной человеческий голоса:

— Где ты его взял? — допрашивал чей-то бас.

— Около монументной лавки Белобрысова, ваше благородие, — отвечал другой бас, — где памятники и икрсты выставлены. Гляжу, а он сидит и обнимает памятники, а около него чей-то пес воет... Должно, выпивши...

Утром, когда я проснулся, меня выпустили...

1886.

НЕУДАЧА.

Илья Сергеевич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью, в маленькой зале, происходило, повидимому, объяснение в любви; объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щупкин.

— Клюст! — шептал Пеплов, дрожа от нетерпения и потирая руки. — Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образ и идем благословлять... Накроем... Благословение образом свято и ненарушимо... Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает.

А за дверью происходил такой разговор:

— Оставьте ваш характер, — говорил Щупкин, зажигая спичку о свои клетчатые брюки. — Вовсе я не писал вам писем!

— Ну, да! Будто я не знаю вашего почерка! — хохотала девица, манерно вздыхая, и то и дело потягивая на себя в зеркало. — Я сразу узнала! И какие вы странные! Учитель чистописания, а почерк как у курицы! Как же вы учите писать, если сами плохо пишете?

— Гм.. Это ничего не значит-с. В чистописании главное не почерк, главное, чтоб ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени.. Да что почерк! Пустое дело! Некрасов писатель был, а собственно глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк.

— То Некрасов, а то вы... (задох). Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал!

— Стихи и я могу написать вам, ежели желаете.

— О чём же вы писать можете?

— О любви... о чувствах... о ваших глазах... Прочтете — очумеете... Слеза прошибет! А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать?

— Велика вашность!.. Да хоть сейчас целуйте!

Щупкин вскочил и, выпучив глаза, прижал к пухлой, пахущей личным мылом, ручке.

— Снимай образ, — загородился Пеплов, толпясь локтем свою жену, бледней от волнения и застегнувшись. — Идем! Ну! И не медли ни секунды, Пеплов распахнул дверь.

— Дети... — забормотал он, воздевая руки и славливо мигая глазами. — Господь вас благословит, дети мои.. Живите... плодитесь... размножайтесь...

— И... и я благословлю... — проговорила мамаша, плача от счастья. — Будьте счастливы, дорогие! О, вы отнимаете у меня единственное сокровище! — обратилась она к Щупкину. — Любите же мою дочь, жалейте ее...

Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова.

«Попался! Оиртулиз! — подумал он, млея от ужаса. — Крыска теперь тебе, брат! Не выскочиши!»

И он покорно подставила свою голову, как бы желая сказать: «Берите, я побежден!»

— Бла... благословлю... — продолжал папаша и тоже заплакал. — Наташенька, дочь моя... становись рядом.. Петровна, давай образ...

Но тут родитель вдруг перестал плакать, и лицо у него перекосило от гнева.

— Тумба! — сердито сказал он жене. — Голова твоя глупая! Да нешто это образ?

— Ах, батюшки-светлы!

Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза и увидел, что он спасен: мамаша вспыхах сияла со стены,

вместо образа, портрет писателя Лажечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна, с портретом в руках, стояли сконфуженные, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смущением и бежал.

1886.

ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ.

(Рассказ.)

Помощник присяжного поверенного Плтеркин возвращается на простой крестьянской телеге из уездного городишна N., куда ездил защищать лавочника, обвинившегося в поджоге. На душе у него было гнусно, как никогда. Он чувствовал себя оскорблённым, провалившимся, оплеванным. Ему казалось, что истекший день, день его долгожданного и многообещавшего дебюта, искалечил на веки вечные его карьеру, веру в людей, мировоззрение.

Во-первых, его безобразно и жестоко надул обвиняемый. До суда лавочник так искренно мигал глазами и так чистосердечно, просто расписывал свою невинность, что все обранные против него улики в глазах психолога и финансомиста (каковым считал себя юный защитник) имели вид бесцеремонных пятачек, придиорок и предубеждений. На суде же лавочник оказался плутом и дрянью, и бедная психология пошла к черту.

Во-вторых, он, Плтеркин, наизлох ему, вел себя на суде неподобающе: занился, путался в вопросах, вставал перед свидетелями, глупо краснел. Изык его совсем не слушался и в простой речи спотыкался, как в спороговорках. Речь свою говорил он вяло, словно в тумане, гляди через головы присяжных. Говорил и все время называлось ему, что присяжные глядят на него насмешливо, презрительно.

В-третьих, что хуже всего, товарищ прокурора и гражданский истец, старый, матерый адвокат, вели себя не по-товарищески. Они,казалось ему, условились игнорировать защитника и если поднимали на него глаза, то только для того, чтобы поуправжнить на нем свою развязность, поглумиться, эффектно окрыситься. В их речах слышались пропах и смеходательный тон. Говорили они и точно извинения просили, что защитник такой дурачок и баражек. Плтеркин, в конце концов, не вынес. Во время перерыва он подбежал к гражданскому истцу и, дрожа всем телом, наговорил ему кучу дерзостей. Потом, когда заседание кончилось, он нагнал на лестнице товарища прокурора и этому поднес пилью.

В-четвёртых... Впрочем, если перечислять все то, что мутило и сосало теперь за сердце моего героя, то нужно в-пятых, шестых... до сотых включительно...

«Позор... мерзость! — страдал он, сидя в телеге и пряча свои уши в воротник. — Кончен! К черту адвокатуру! Заберусь куда-нибудь в глушь, в уединение... подальше от этих господ...»

подальше от этих дриот». — Да, сожал же, черт тебя возьми! — набросился он на возницу. — Что ты едешь, точно мертвого исниться везешь? Гони!

— Гони... гони... — передразнил возница. — Нешто не видишь, какая дорога? Чорта погони, так и тот замучается. Это не погода, а наказание господне.

Погода была отвратительная. Она, калалось, негодовала, испытывала и страдала заодно с Пятеркиным. В воздухе, непролистном, как сажа, дул и посвистывал на все лады холодный, влажный ветер. Шел дождь. Под колесами всхлипывал снег, мешавшийся с плющую грязью. Буеракам, колдобинам и размытым мостикам не было конца.

— Зги не видать... — продолжал возница. — Этак мы и до утра не доедем. Придется на ночь у Луки остановиться.

— У нашего Луки?

— Тут на дороге в лесу старик такой живет. Заместо лесника его дернат. Да вот она и изба самая.

Послыпался хриплый собачий лай, и между голыми ветками замелькал тусклый огонек. Каким бы вы ни были мизантропом, но если иенастрою, глухою ночью вы увидите лесной огонек, то вас непременно потянет к людям. То же случилось и с Пятеркиным. Когда телега остановилась у избы, из единственного оконечка которой робко и приветливо выглядывал свет, ему стало легче.

— Здорово, старин! — сказал он ласково Луке, который стоял в сенях и обеими руками чесал себе живот. — Можно у тебя переночевать?

— Мо... можно... — проворчал Лука. — Тут уж есть двое... Пожалуйте в светелку...

Пятеркин нагнулся, вошел в светелку и... мизантропия вернулась к нему во всей своей силе. За маленьким столом, при свете сальной свечки, сидели два человека, имевших такое сильное влияние на его настроение: товарищ прокурора фон-Пах и гражданский истец Семечкин. Подобно Пятеркину, они возвращались из N. и тоже попали к Луке. Увидев входящего защитника, оба они приятно удивились и приветствовали.

— Коллега! Капими судьбами? — заговорили они. — И вас загнало сюда иенасть? Милости просим! Присаживайтесь.

Пятеркин думал, что, увидев его, они отвернутся, почувствуют неловкость и умолкнут, а потому такая дружеская встреча показалась ему по меньшей мере нахальством.

— Я не понимаю... — пробормотал он, с достоинством похлопывая плечами. — После того, что между нами произошло, я... я даже удивляюсь!

Фон-Пах удивленно поглядел на Пятеркина, пожал плечами и, повернувшись к Семечкину, продолжал прерванную беседу:

— Ну-с, читаю я дозванье... А в дозваниии, батенька, противоречие на противоречии... Пишет, например, становой, что

умершая крестьянка Иванова, когда ушла от гостей, была мертвецки пьяна и умерла, пройди три версты пешком. Как она могла пройти три версты пешком, если была мертвецки пьяна? Ну, разве это не противоречие? А?

Пока фон-Пах таким образом разглагольствовал, Пятеркин сел на скамью и принял осматривать свое временное жилище... Лесной огонек постиг только издалека, вблизи же он — жалкая проза... Здесь освещал он маленьку, серую изморину с кривыми стенами и с закопченным потолком. В правом углу висел темный образ, из левого мрачным дуплом глядела искушенная печь. На потолке, по балкам тинулся длинный шест, на котором когда-то качалась колыбель. Ветхий столик и две узкие, шаткие скамьи составляли всю мебель. Было темно, душно и холодно. Пахло гнилью и сальной гарью.

«Синички... — подумал Пятеркин, носясь на своих врагов. — Оскорбили человека, втолкли его в грязь и беседуют теперь, как ни в чем не бывало». — Послушай, — обратился он к Луке, — нет ли у тебя другой комнаты? Я здесь не могу быть.

— Сени есть, да там холодно-с.

— Чертовски холодно... — проворчал Семечкин. — Знал бы, напитков и карт с собой захватил. Чай напиться, что ли? Дедусь, сочини-ка самоварчик!

Через полчаса Лука подал грязный самовар, чайник с отбитым носиком и три чашки.

— Чай у меня есть... — сказал фон-Пах. — Теперь бы только сахара достать... Дед, дай-ка сахару!

— Эва! сахара... — ухмыльнулся в сенях Лука. — В лесу сахара захотели! Тут не город.

— Что и? Будем пить без сахара, — решил фон-Пах.

Семечкин залпил чай и налил три чашки.

«И мне налили... — подумал Пятеркин. — Очень нужно! Наплевали в ронку и потом чаэм угощают. У этих людей просто самолюбия нет. Потребую у Луки еще чашку и буду у одну горячую воду пить. Кстати же у меня есть сахар.

Четвертой чашки у Луки не оказалось. Пятеркин вылил из третьей чашки чай, налил в нее горячей воды и стал прихлебывать,кусая сахар. Услыхав громкое кусанье, его враги переглянулись и присунули.

— Ей-богу, это мало! — залепетал фон-Пах. — У нас нет сахара, у него нет чая... Ха-ха... Весело! Капой же однако он еще мальчик! Вершила, а настолько еще сохранился, что умеет дуться, как институтка... Коллега! — повернулся он к Пятеркину. — Вы напрасно брезгуете нашим чаэм... Он не из дешевых... А если вы не пьете из амбиции, то ведь за чай вы могли бы заплатить нам сахаром!

Пятеркин промолчал.

«Нахалы... — подумал он. — Оскорбили, оклеветали и еще лезут! И это люди! Им, стало-быть, ни почем те дерзости, которые

я наговорил им в суде... Не буду обращать на них внимание...
Лягу...»

Около печи на полу был расстелен тулуп... У изголовья лежала длинная подушка, набитая соломой... Пятеркин растянулся на тулупе, положил свою горячую голову на подушку и укрылся шубой.

— Какая скучища! — зевнул Семечкин. — Читать холодно и темно, спать негде... Бrrr.. Скажите мне, Осип Осипыч, если, например, Лука победает в ресторане и не заплатит за это денег, то что это будет: кража или мошенничество?

— Ни то, ни другое... Это только повод к гражданскому иску...

Поднялся спор, тянувшийся полтора часа. Пятеркин слушал и дрожал от злости... Раз пять порывался он вскочить и вмешаться в спор.

«Какой вздор! — мучился он, слушая их. — Как отстали, как иезуитчины!»

Спор кончился тем, что фон-Пах лег рядом с Пятеркиным, укрылся шубой и сказал:

— Ну, будет... Мы своим спором не даем спать господину защитнику. Ложитесь...

— Ои, кажется, уже спит... — сказал Семечкин, ложась на другую сторону Пятеркина. — Коллега, вы спите?

«Пристают... — подумал Пятеркин. — Свиньи...»

— Молчит, значит, спит... — промычал фон-Пах. — Ухтился уснуть в этом хлеву... Говорят, что жизнь юристов кабинетная... Не кабинетная, а собачья... Ишь ведь куда черти занесли! А мне, знаете ли, нравится наш сосед... как его?.. Шестеркин, что ли? Горячий, огневой...

— Мда... Лет через пять хорошим адвокатом будет... Есть у мальчика манера... Еще на губах молоко не обсохло, а уже говорит с завитушками и любит фейерверки пускать... Только напрасно он в своей речи Гамлета припутал.

Близкое соседство врагов и их хладнокровный, синхронительный тон душили Пятеркина. Его распирало от злости и стыда.

— А с сахаром-то истории... — ухмыльнулся фон-Пах. — Сущая институтка! За что он на нас обиделся? Вы не знаете?

— А чорт его знает...

Пятеркин не вынес. Он вскочил, открыл рот, чтобы сказать что-то, но мучения истекшего дня были уж слишком сильны: вместо слов из груди вырвался истерический плач.

— Что с ним? — ужаснулся фон-Пах. — Голубчик, с вами?

— Вы... вы больны? — вскочил Семечкин. — Что с вами? Денег у вас нет? Да что такое?

— Это ишако... гадко! Целый день... целый день!

— Душенька мой, чтò гадко и ишако?.. Осип Осипыч, ладно! Ангел мой, в чем дело? Отчего вы сегодня такою сердиты?

Вы, вероятно, защищали сегодня в первый раз? Да? Ну, так это понятно! Плачьте, милый... Я в свое время вешаться хотел, а плакать лучше, чем вешаться. Вы плачете, это легче будет.

— Гадко... мерако!

— Да ничего гадкого не было! Все было так, как нужно. И говорили вы хорошо, и слушали нас хорошо. Минтельность, батенька! Помню, выпал я в первый раз на защиту. Штаншики рваные, фрачник мундир одолели. Сижу я, и кажется мне, что над моими штанщиками публично смеется. И подсудимый-то, выходит, меня надул, и прокурор глумится, и сам-то я глуп. Чай, перешли уже адвокатуру к черту? Со всеми это бывает! Не вы первый, не вы последний. Недешево, батенька, первый дебют стоит!

— А кто издавался? Кто... глумился?

— Ничто! Вам только казалось это! Всегда дебютантам это кажется. Вам не казалось ли также, что присяжные глядели вам в глаза пренебрежительно? Да? Ну, так и есть. Выпейте, голубчик. Уиройтесь.

Враги укрыли Пятеркина шубами и ухаживали за ним, как за ребенком, всю ночь. Страдания истекшего дня оказались пурпуром.

1885.

У ТЕЛЕФОНА.

— Что вам угодно? — спрашивает женский голос.

— Соединить с «Славянским Базаром».

— Готово!

Через три минуты слышу звонок... Прикладываю трубку к уху и слышу звуки неопределенного характера: не то ветер дует, не то горох сыпется... Кто-то что-то лепечет...

— Есть свободные пабинеты? — спрашиваю я.

— Никого нет дома... — отвечает прерывистый детский голосок. — Папа и мама и Серафиме Петровне поехали, а у Луизы Французовны грипп...

— Вы кто? Из «Славянского Базара»?

— Я — Сережка... Мой папа доктор... Он принимает утром...

— Душечка, мне не доктор нужен, а «Славянский Базар»...

— Какой базар? (смех). Теперь я знаю, что вы... Вы Павел Андреич... А мы от Кати письмо получили! (смех). Она на офицере женится... А вы когда мне краски купите?

Я отхожу от телефона и минут через десять опять звоню.

— Соединить со «Славянским Базаром»! — прошу я.

— Наконец-то! — отвечает хриплый бас. — И Фуне с вами?

— Конь Фуне? Я прошу соединить со «Славянским Базаром»!

— Вы в «Славянском Базаре»! Хорошо, приеду... Сегодня же кончим наше дело... Я сейчас... Закажите мне, голубчик, порцию селянки из осетрины... Я еще не обедал...

«Тьфу! Чорт знает что! — думаю я, отходя от телефона. — Может быть, я с телефоном обращаться не умею, путаю... Постой, как нужно? Сначала нужно эту штучку покрутить, потом эту штуку снять и приложить к уху... Ну-с, потом? Потом эту штуку повесить на эти штучки и повернуть три раза эту штучку... Кажется так!»

Я опять звоню. Ответа нет. Звоню с осторожением, рискуя отломать штучку. В трубке шум, похожий на беготню мышей по бумаге...

— С кем говорю? — кричу я. — Отвечайте же! Громче!

— Мануфактура Тимофея Ваксина сыновья...

— Покорнейше благодарю... Не нужно мне вашей мануфактуры...

— Вы Сычов? Миткаль вам уже послан...

Я вешаю трубку и опять начинаю экзаминовать себя: не путаю ли я? Прочитываю «правила», вынуриваю папиреску и опять звоню. Ответа нет...

— Должно быть в «Славянском Базаре» телефон испортился, — думаю я. — Попробую поговорить с «Эрмитажем»...

Вычитываю еще раз в правилах, как беседовать с центральной станцией, и звоню...

— Соедините с «Эрмитажем»! — кричу я. — С «Эрмитажем»!

Проходит пять минут, десять... Терпение начинает мало-малу лопаться, но вот — ура! — слышится звонок.

— С кем говорю? — спрашиваю я.

— Центральная станция...

— Тьфу! Соедините с «Эрмитажем»! Ради бога!

— С Феррейном?

— С «Эр-ми-та-жем»!

— Готово...

— Ну, кажется, кончились мои мучения... — думаю я. — Уф, даже пот выступил!

Звонок. Хватаюсь за трубку и взвываю:

— Отдельные кабинеты есть?

— Папа и мама уехали к Серафиме Петровне, у Луизы Францовой гриши... Никого нет дома!

— Это вы, Серёжа?

— Я... А вы кто? (смех)... Павел Андреич? Отчего вы у нас вчера не были? (смех). Папа китайские тени показывал... Надел мамину шляпу и представил Авдотью Николаевну...

Сережкин голос вдруг обрывается и наступает тишина. Я вешаю трубку и звоню минуты три, до боли в пальцах.

— Соедините с «Эрмитажем»! — кричу я. — С рестораном, что на Трубной площади! Да вы слышите, или нет?

— Отлично слышу-с... Но здесь не «Эрмитаж», а «Славянский Базар».

— Вы «Славянский Базар»?

— Точно так... «Славянский Базар»...

— Уф! Ничего не понимаю! У вас есть свободные кабинеты?

— Сейчас узнаю-с...

Проходит минута, другая... По трубке пробегает легкая голосовая дрожь... И вслушиваюсь и ничего не понимаю...

— Отвечайте же: есть кабинеты?

— Да вам что нужно? — спрашивает женский голос.

— Вы из «Славянского Базара»?

— На центральной станции...

(Продолжение до nos plus ultra.)

1886.

ДЕТВОРА.

Папы, мамы и тети Нади нет дома. Они уехали на крестини и тому старому офицеру, который ездит на маленькой серой лошади. В ожидании их возвращения Гриша, Анна, Алекса, Соня и кухарки сыни Андрей сидят в столовой за обеденным столом и играют в лото. Говоря по совести, им пора уже спать; но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на крестинах был ребеночек и что подавали за ужином? Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит цифрами, ореховой скорлупой, бумажками и стекляшками. Перед каждым из играющих лежат по две карты и по кучке стекляшек для покрышки цифр. Посреди стола блестит блюдечко с пятью копеечными монетами. Возле блюдечка лежит яблоко, ножницы и тарелка, в которую приказано класть ореховую скорлупу. Играют дети на деньги. Ставка — копейка. Условие: если кто смошеничает, того немедленно вон. В столовой, кроме играющих, нет никого. Иняна Агафья Ивановна сидит внизу в кухне и учит там кухарку кроить, а старший брат Вася, ученик V класса, лежит в гостиной на диване и скучает.

Играют с азартом. Самый большой азарт написан на лице у Гриши. Это маленький, девятилетний мальчик с до-голя остриженной головой, пухлыми щеками и с жирными, как у негра, губами. Он уже учится в приготовительном классе, а потому считается большим и самым умным. Играет он исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копейка, он давно бы уже спал. Его карие глазки беспокойно и резвино бегают по картам партнеров. Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженную голову, не дают ему сидеть спокойно, сосредоточиться. Вертило он, как на иголках. Выиграв, он с изящностью хватает деньги и тотчас же прячет их в карман. Сестра его Анна, девочка лет восьми, с острым подбородком и умными, блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто-

нибудь не выиграл. Она краснеет, бледнеет и горюко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра, Сося, девочка шести лет, с кудрявой головкой и с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на бонбоньерах, играет в лото ради процесса игры. По лицу ее развито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный нарапузик, пыхтит, сопит и пучит глаза на карты. У него ни корыстолюбия, ни самолюбия. Не гонят из-за стола, не укладывают спать — и на том спасибо. По виду он флегма, но в душе поридочная бестия. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает него. Ему давно уже нужно кое-куда сбегать, но он не выходит из-за стола ни на минуту, боясь, чтоб без него не похитили его стеклышик и копееч. Так как он знает один только единицы и то числа, которые оканчиваются нулями, то за него покрывает цифры Ани. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей, черномавый, болезненный мальчик, в ситцевой рубашке и с медным крестиком на груди, стоит неподвижно и мечтательно глядит на цифры. К выигрышу и к чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию: сколько на этом свете разных цифр, и как это они не перепутаются!

Выкидывают числа все по очереди, кроме Сося и Алеша. Ввиду однообразия чисел, практика выработала много терминов и смехотворных прозвищ. Так, семья у игроков называется ко-чергой, одиннадцать — палочкиами, семьдесят семь — Семен Семенычем, девяносто — дадушкой и т. д. Игра идет бойко.

— Тридцать два! — кричит Гриша, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрички. — Семнадцать! Кочерга! Двадцать восемь — сено носим!

Аня видит, что Андрей проиграл 28. В другое время она указала бы ему на это, теперь же, когда на блюдецце вместе с копейкой лежит ее самолюбие, она торжествует.

— Двадцать три! — продолжает Гриша. — Семен Семеныч! Девяты!

— Прусак, прусак! — вскрикивает Сося, указывая на прусака, бегущего через стол. — Ай!

— На бей его, — говорит басом Алеша. — У него, может быть, есть дети...

Сося провожает глазами прусака и думает о его детях: наше это, должно быть, маленькие прусасята!

— Сорок три! Один! — продолжает Гриша, страдая от мысли, что у Ани уже две катерики. — Шесть!

— Партия! У меня партия! — кричит Сося, нонетливо заматывая глаза и хохоча.

У партнеров вытигиваются физиономии.

— Проверить! — говорит Гриша, с испугом глядя на Сося.

На правах большого и самого умного Гриша забрал себе решающий голос. Чтò он хочет, то и делают. Долго и тщательно проверяют Сося, и к величайшему сожалению ее партнеров оказывается, что она не смошеничала. Начинается следующая партия.

— А что я вчера видела! — говорит Аня как бы про себя. — Филипп Филиппыч заворотил как-то веки, и у него сделались глаза красные, страшные, как у печистого духа.

— Я тоже видел, — говорит Гриша. — Восемь! А у нас ученик умеет ушами двигать. Двадцать семь!

Андрей поднимает глаза на Гришу, думает и говорит:

— И я умею ушами шевелить...

— А ну-ка, пошевели!

Андрей шевелит глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходят в движение. Всеобщий смех.

— Нехороший человек этот Филипп Филиппыч, — вздыхает Сося. — Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке... И мне стало так неприлично!

— Партия! — вскрикивает вдруг Гриша, хватая с блюдечка деньги. — У меня партия! Проверяйте, если хотите!

Кухаркин сын поднимает глаза и бледнеет.

— Мне, значит, уж больше нельзя играть, — шепчет он.

— Почему?

— Потому что... потому что у меня больше денег нет.

— Без денег нельзя! — говорит Гриша.

Андрей на всякий случай еще раз роется в карманах. Не найдя в них ничего, кроме крошек и искусанного карандашка, он кривит рот и начинает страдальчески мигать глазами. Сейчас он заплачет...

— И за тебя поставлю! — говорит Сося, не вынося его музыкальского взгляда. — Только смотри, отдань после.

Деньги вносятся, и игра продолжается.

— Канется, где-то звонят, — говорит Аня, делая большие глаза.

Все перестают играть и, раскрыв рты, глядят на темное окно. За темнотой мелькает отражение лампы.

— Это послышалось.

— Ночью только на кладбище звонят... — говорит Андрей.

— А зачем там звонят?

— Чтоб разбойники в церковь не забрались. Звона они боятся.

— А для чего разбойникам в церковь забираться? — спрашивает Сося.

— Известно для чего: сторожей поубивать!

Проходит минута в молчании. Все переглядываются, вздрагивают и продолжают игру. На этот раз выигрывает Андрей.

— Он смошеничил, — басит он с того, ни с того Алеша.

— Брешь, я не смошеничил!

Андрей бледнеет, кривит рот и хлоп Алешу по голове! Алеша алобно таращит глаза, вскакивает, становится одним изленом на стол и, в свою очередь, — хлоп Андрея по щеке! Оба дают друг другу еще по одной пощечине и ревут. Соня, не выносящая таких ужасов, тоже начинает плакать, и столовая оглашается разноголосым ревом. Но не думайте, что игра от этого кончилась. Не проходит и пяти минут, как дети опять хохочут и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. Алеша даже очарлив: недоразумение было!

В столовую входит Вася, ученик V класса. Вид у него за спанный, разочарованный.

«Это возмутительно! — думает он, гляди, как Гриша ощущает карман, в котором занята копейки. — Разве можно давать детям деньги? И разве можно позволить им играть в аварийные игры? Хороша педагогия, ничего сказать. Возмутительно!»

Но дети играют так вкусно, что у него самого является охота присоединиться к ним и попытать счастья.

— Погодите, и я сяду играть, — говорит он.

— Ставь копейку!

— Сейчас, — говорит он, ронясь в карманах. — У меня копейки нет, но вот есть рубль. Я ставлю рубль.

— Нет, нет, нет... копейку ставь!

— Дураки вы. Ведь рубль во всяком случае дороже копейки, — объясняет гимназист. — Кто выиграет, тот мне сдаст сдаст.

— Нет, пожалуйста! Уходи!

Ученик V класса покосится плечами и идет в кухню взять у прислуги мелочи. В кухне не оказываются ни копейки.

— В таком случае разменяй мне, — пристает он к Грише, приди из кухни. — Я тебе променя заплачу. Не хочешь? Ну, прорай мне за рубль десять копеек.

Гриша подозрительно посматривает на Васю: не подвох ли это на какой-нибудь? не жульничество ли?

— Не хочу, — говорит он, держась за карман.

Вася начинает выходить из себя, бранится, называет игроков болванами и чугунными мозгами.

— Вася, да и за тебя поставлю! — говорит Соня. — Садись!

Гимназист садится и кладет перед собой две карты. Ани начинает считать числа.

— Копейку уронил! — заявляет вдруг Гриша изволненным голосом. — Постойте!

Снимают лампу и лезут под стол искать копейку. Хватают руками плетни, ореховую скорлупу, стучаются головами, но копейки не находят. Начинают искать снова и ищут до тех пор, пока Вася не вырывается из рук Гриши лампу и не ставит ее на место. Гриша продолжает искать в потемках.

Но вот, наконец, копейка найдена. Игроки садятся за стол и хотят продолжать игру.

— Соня спит! — заявляет Алеша.

Соня, положив кудрявую голову на руки, спит сладко, безмятежно и крепко, словно она уснула час тому назад. Уснула она печально, пока другие искали копейку.

— Поди, на мамину постель ложись! — говорит Ани, уводя ее из столовой. — Иди!

Ее ведут все гурьбой, и через какие-нибудь пять минут ма- мина постель представляет собой любопытное зрелище. Спит Соня. Вокруг нее пахраивает Алеша. Положив на их ноги голову, спит Гриша и Ани. Тут же идет заодно примостились и кухарки сына Андрей. Во все них валяются копейки, потерявшие свою силу вперед до новой игры. Спокойной ночи!

1836.

ОТКРЫТИЕ.

Навсегда кучу разрывая,
Петух нашел жемчужину верно...
Крылов.

Инженер статский советник Бахромкин сидел у себя за письменным столом и отвечал на письма. Не далее как сегодня вечером, иш бале у знакомых, он познакомился с барышней, в которую лет 20—25 тому назад был влюблен. В свое время это была замечательная красавица, в которую так легко было влюбиться, как наступить соседу на морду. Особенно памятны Бахромкину ее большие глубокие глаза, дно которых, казалось, было выстлано исконным голубым бархатом, и длинные, золотисто-каштановые волосы, похожие на поле послепшерой ржи, когда сено волнуется в бурю перед грозой... Красавица была неизривна, глядела сурово, редко улыбалась, но зато раз улыбнувшись — «пламя гаснущих свечей» она улыбкой окживила... Теперь же это была худосочная, болезненная старушка с кислыми глазами и желтыми зубами... Фи!

«Возмутительно! — думал Бахромкин, водя машинкой карандашом по бумаге. — Низкая злая воля не в состоянии так напакостить человеку, как природа. Знай тогда красавица, что со временем она превратится в такую чепуху, она умерла бы от ужаса...»

Долго размышлял таким образом Бахромкин и вдруг вспомнил, как ужаленный...

— Господи Иисусе! — ужаснулся он. — Это что за новости? Я рисовать умею!

На листе бумаги, по которому машинкой водил карандаш, из-за клиноватых штрихов и каракуль выглядывала прелестная женская головка, та самая, в которую он был когда-то влюблен. В общем рисунок хромил, но томный, суровый взгляд, мягкость очертаний и беспорядочная волна густых волос были переданы в совершенстве...

— Что за оказия? — продолжал изумляться Бахромкин. — Я рисовать умею! Пятьдесят два года жил на свете, не подозревал в себе никаких талантов, и друг на старости лет — благодаря, не оинжал, талант явился! Не может быть!

Не веря себе, Бахромкин схватил карандаш и около красивой головки нарисовал голову старухи... Эта удалась ему так же хорошо, как и молодая...

— Удивительно! — пожал он плечами. — И как педурно, черт возьми! Каков? Стало быть, я художник! Значит, во мне призвание есть! Как же я этого раньше не знал? Вот диковинка!

Найдя Бахромкин у себя в старом киalletе деньги, получил известие, что его произвели в действительные статские, он не был бы так приятно изумлен, как теперь, открыв в себе способность творить. Целый час провозился он у стола, рисуя головы, деревья, пожар, лошадей...

— Превосходно! Браво! — восхищался он. — Получиться бы только технике, совсем бы отлично было.

Рисовать дальше и восхищаться помешал ему лакей, внесший в кабинет столик с ужином. Съевши рабочца и выпив два стакана бургундского, Бахромкин раскинулся и задумался... Вспомнил он, что за все 52 года он ни разу и не подмыслыл даже о существовании в себе какого-либо таланта. Правда, тяготение к изящному чувствовалось всю жизнь. В молодости он подвизался на любительской сцене, играл, пел, малевал декорации... Потом, до самой старости, он не переставал читать, любить театр, записывать на память хорошие стихи... Острых он удачно, говорил хорошо, критиковал метко. Огонек, очевидно, был, но всически заглушился суетою...

«Чем черт не шутит, — подумал Бахромкин, — может-быть, я еще умею стихи и романы писать? В самом деле, что, если бы я открыл в себе талант в молодости, когда еще не поздно было, и стал бы художником или поэтом? А?»

И перед его воображением открылась жизнь, непохожая на миллионы других жизней. Сравнивать ее с жизнями обычных смертных совсем невозможно.

«Правы люди, что не дают им чинов и орденов... — подумал он. — Они стоят вне всяких рангов и капитулов... Да и судить-то об их деятельности могут только избранные...»

Тут же истати Бахромкин вспомнил случай из своего далекого прошлого... Его мать, нераная, эксцентричная женщина, иди однажды с ним, встретила на лестнице какого-то пьяного безобразного человека и поцеловала ему руку. «Мама, зачем ты это делаешь?» — удивился он. — «Это поет!» — ответила она. И она, по его мнению, права... Поцелуй она руку генералу или сенатору, то это было бы занятием, самоуничижением, хуже которого для развитой женщины и придумать нельзя, поцеловать же руку поэту, художнику или композитору — это естественно...

«Вольная жизнь, не будничная... — думал Бахромкин, идя к постели. — А слава, известность? Как я широко ни шагай по службе, на какие ступени ни выбирайся, а ими мое не пойдет дальше муравейника... У них же совсем другое... Поэт или художник спит или пьянеет себе беззатрудно, а в это время незаметно для него в городах и весях звучат его стихи, или рассматривают картинки... Но знать их имен считается невоспитанностью, невежеством... моветонством...»

Окончательно раскисший Бахромкин опустился на кровать и кинул пакет... Лакей подошел к нему и присядел осторожно снимать с него одежду за оденкой.

«Мда... необыкновенная жизнь... Про железные дороги когда-нибудь забудут, а Фидии и Гомера всегда будут помнить... На что плох Тредьяновский, и того помнят... Бррр... холодно!.. А что, если бы я сейчас был художником? Как бы я себя чувствовал?»

Пона лакей снимал с него дневную сорочку и надевал почную, он нарисовал себе картину... Вот он, художник или поэт, темною почью плется к себе демон... Лошадей у талантов не бывает; хочешь не хочешь, иди пошком... Идет он жалинецкий, в порыжелом пальто, быть-может, даже без налош... У входа в меблированные комнаты дремлет швейцар; эта грубая синтина отворяет дверь и не глядит... Там, где-то в толпе имя поэта или художника пользуется почетом, но от этого почета ему ни тепло, ни холодно: швейцар не венчикнее, прислуга не ласковее, домочадцы не снисходительнее... Имя в почете, но личность в забросе... Вот он, утомленный и голодный, входит, износив, и себе в темный и душный номер... Ему хочется есть и пить, но рабочиков и бургундского — увы! — нет... Спать хочется ужасно, до того, что слипаются глаза и падает на грудь голова, а постель жесткая, холодная, отдающая гостиницей... Воду наливай себе сам, раздевайся сам... ходи босиком по холодному полу... В конце концов он, дрожа, засыпает, зная, что у него нет сигар, лошадей... что в среднем ящике стола у него нет Аины и Станислава, а в нижнем — чековой книжки...

Бахромкин покрутил головой, повалился в пружинный матрац и поскорее укрылся пуховым оденком.

«Ну его и черту! — подумал он, нежась в сладко засыпая. — Ну его... к... черту... Хорошо, что я... в молодости не тово... не отирая...»

Лакей потушил лампу и на цыпочках вышел.

ТОСКА.

Кому ловем печаль мою?..

Вечерние сумерки. Крупный, мокрый снег лениво кружится около только-что зажженных фонарей и тонким, мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на коалах и не шевелится. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным страхиваться с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Свою неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной приманкой ног она даже вблизи похожа на копеечную граничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных, серых картин и бросили сюда в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почила все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

— Извозчик, на Выборскую! — слышит Иона. — Извозчик! Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит воинного в шинели с капюшоном.

— На Выборскую! — повторяет военный. — Да ты спишь, что ли? На Выборскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спиной лошади и с его плеч сыплются пласти снега... Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет инутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палькообразные ноги и нерешительно двигается с места...

— Куда прешь, леший! — на первых же порах слышит Иона во взглазы из темной, движущейся вавад и вперед массы. — Куда чертинесут? Пррава дерки!

— Ты ездить не умеешь! Права дерки! — сердится воинский. Бранится кучер с кареты, алобно глядит и страхивает о руках снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на коалах, как на иголках, тыкает в стороны лохтиами и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

— Какие все подлецы! — острит военный. — Так и норовят столкнуться с тобой, или под лошадь попасть. Это они говорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, повидимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме синяня.

— Что? — спрашивает военный.

Иона кривит узбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

— А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.

— Гм... Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

— А кто же его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и помер... Божья воля.

— Сворачивай, дьявол! — раздается в потемках. — Повылазило, что ли, старый пест? Гляди глазами!

— Поезжай, поезжай... — говорит седок. — Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грязней взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыт глаза и, повидимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборской, он останавливается у трактира, сгибается на коалах и опять не шевелится... Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

— Извозчик, к Полицейскому мосту! — кричит дребезжающим голосом горбач. — Троих... двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходила, но ему не до цен... Что рубль, что штак — для него теперь все равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернсловя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, напризнничанья и попреков приходит к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

— Ну, погоняй! — дребезжит горбач, устанавливаясь и лыша в затылок Ионы. — Луши! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти...

— Гы-ы... гы-ы... — хохочет Иона. — Какая есть...

— Ну, ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

— Голова трещит... — говорит один из длинных. — Вчера у Думмасовых мы вдвое с Васькой четыре бутылки коньку вышли.

— Не понимаю, зачем враты! — сердито другой длинный. — Врет, как скотина.

— Наняли меня бог, правда...

— Это такая же правда, как то, что воснь пашляет.

— Гы-ы! — ухмыляется Иона. — В-е-еселые господа!

— Тыфу, чтоб тебя черти!.. — возмущается горбатый. — Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобыни-ка ее кнутом! Но, чорт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертиющееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-по-малу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестнадцатиным ругательством и не разражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Доисдавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

— А у меня на этой неделе... тово... сын помер!

— Все помер... — вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. — Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?

— А ты его легонечко подбодри... в шею!

— Старая холера, слышишь? Ведь шею накостылию!.. С вашим братом перемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

— Гы-ы... — смеется он. — Веселые господа... дай бог здоровья!

— Извозчик, ты женат? — спрашивает длинный.

— Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Теперь у меня одна жена — сырая земля... Хи-хо-хо... Могила, то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Заместо того, чтоб ко мне итти, она к сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они, наконец, приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и выпей из нее тоски, так она бы, пожалуй, весь свет залила, но тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

— Милый, который теперь час будет? — спрашивает он.

— Десятый... Чего же стал здесь? Просижай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, истрахивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает волосы... Ему невмоготу.

«Ко двору, — думает он. — Ко двору!»

И лошаденка, точно понимая его мысль, начинает бегать рысцой. Спустя часа полтора, Иона сидит уже около большой, гряз-

ной печи. На печи, на полу, на с娴ых хранит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почесывает и излезет, что так рано вернулся домой...

«И на овес не выездил, — думает он. — Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам смыт, и лошадь сыта, всегда покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, словно кричит и тянется к водру с водой.

— Пить захотел? — спрашивает Иона.

— Стадо-быть, пить!

— Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? на этой неделе в больнице... История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толпой, с расстановкой... Надо рассказывать, как заболел сын, или он мучился, чтоб говорил перед смертью, как умер... Нужно опишать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чём он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь погладить, — думает Иона. — Спать всегда успевать... Небось, высипнешься...»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сено, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

— Жуешь? — спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящее глаза. — Ну, нуу, нуу... Коли на овес не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

— Так-то, брат, кобылочка... Нету Кузьми Ионыча... Приказал долго жить... Всил и помер зря... Теперь, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И друг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь малю?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказывает ей все...

НОЧЬ ПЕРЕД СУДОМ.

(Рассказ подсудимого.)

— Быть, барин, беда! — сказал ямщик, оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца, перебегавшего нам дорогу.

Я и без зайца знал, что будущее мое отчалило. Ехал я в с — ий окружный суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство. Погода была ужасная. Когда я к ночи приехал на почтовую станцию, то имел вид человека, которого обленили снегом, облизали водой и сильно высекли, — до того я озяб, промок и обалдел от однообразной дорожной тряски. На станции встретил меня стационарный смотритель, высокий человек в кальсонах с синими полосками, лысый, заспанный и с усами, которые, казалось, росли из ноздрей и мешали ему дышать.

А понюхать, признаться, было что. Когда смотритель, бормоча, сопя и почесывая за воротником, отворил дверь в стационарные «покои» и молча указал мне ложем на место моего успокоения, меня обдало густым запахом кислотины, сургуча и раздавленного клопа, — и я едва не задохнулся. Жестянка лампочка, стоявшая на столе и освещавшая деревянные, ненрашеные стены, коптила, как лучина.

— Да и вонь же у вас, спицер! — сказал я, входя и кладя темодан на стол.

Смотритель понюхал воздух и недоверчиво покачал головой.

— Пахнет, как обыкновенно, — сказал он и почесался. — Это вам с морозу. Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут.

Я уселся смотрителя и стал обозревать свое временное изилище. Диван, на котором мне предстояло возвлечь, был широк, как двухспальная кровать, обит kleenкой и был холоден, как лед. Кроме дивана в комнате были еще: большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чай-то валенки, чай-то ручной саквояж и ширма, загораживавшая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я постдлал себе на диване и стал раздеваться. Ноэ мой скоро привык к вони. Синий сюртук, брюки и сапоги, бесконечно потягиваясь, улыбались, ехали, и запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги... Эти прыжки меня еще более согрели. Оставалось после этого растянуться на диване и уснуть, но тут случился маленький казус. Мой взгляд нечаянно упал на ширму и... представьте мой ужас! Из-за ширмы глядела на меня женская головка с распущенными волосами, черными глазами и оскаленными зубами. Черные брови ее двигались, на щеках играли хорошиевые ямочки — стало быть, она сменилась. И сконфузился. Головка, заметив, что я ее увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупя взор, я смирихонько направился к дивану, лег и укрылся шубой.

«Кана! оказия! — подумал я. — Значит, она видела, как я прыгал! Некорошо...»

И, припомнивая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картинки одна другой ираши и соблазнительнее затеснялись в моем воображении и... и, словно в наказание за грехиные мысли, я вдруг почувствовал на своей правой щеке сильную, жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймал, но догадался в чем дело: заняло раздавленным клопом.

— Это чорт знает, что такое! — услышал я в то же время женский голосок. — Проклятые клопы, вероятно, хотят съесть меня!

Гм!. Я вспомнил о своей хорошей привычке всегда брать с собой в дорогу персидский порошок. И на сей раз я не паменил этой привычки. Жестянка с порошком была вытащена из чемодана в какую-нибудь секунду. Оставалось теперь предложить хорошенькой головке средство от «энциклопедии» и — знакомство готово. Но как предложить?

— Это ужасно!

— Сударыня, — сказал я взволненно сладеньким голосом. — Несколько я понял ваше последнее восклицание, вас кусают клопы. У меня же есть персидский порошок. Если угодно, то...

— Ах, пожалуйста!

— В таком случае я сейчас... надену только шубу, — обрадовался я, — и приносу...

— Нет, нет... Вы через ширму подайте, а сюда не ходите!

— Я и сам знаю, что через ширму. Не пугайтесь: не башни-бузук какой-нибудь...

— А кто вас знает! Народ вы проезжий...

— Гм!. А хоть бы и за ширму... Тут ничего нет особенного... тем более, что я доктор, — согласил я, — а доктора, частные приставы и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь.

— Вы правду говорите, что вы доктор? Серьезно?

— Честное слово. Так позвольте принести вам порошок?

— Ну, если вы доктор, то пожалуй... Только зачем вам трудиться? Я могу муши выслать к вам... Федя! — сказала брюнетка, понизив голос. — Федя! Да проснись же, тюлены! Встань и поди за ширму! Доктор так любезен, он предлагает нам персидского порошка.

Присутствие за ширмой «Федя» было для меня ошеломляющим новостью. Меня словно обухом ударило... Душу мою наполнило чувство, которое, по всей вероятности, испытывает ружейный нурок, когда делает осечку: и совестно, и досадно, и жалко... На душе у меня стало так скверно и таким мерзпицем показался мне этот Федя, когда вышел из-за ширмы, что я едва не закричал караул. Федя изображен из себя высокого, юношеского человека, лет пятидесяти, с седыми бачками, со стиснутыми чиновничими губами и с синими ишлаками, беспорядочно бегавшими по его носу и щекам. Он был в халате и туфлях.

— Вы очень любезны, доктор... — сказал он, принимая от меня персидский порошок и поворачивая к себе за ширмы. — Матёй... И вас застала пурга?

— Да! — проворчал я, ложась на диван и остервенело пятивая на себя шубу. — Да!

— Так-то... Зиночка, по твоему иссiku клопик бензит! Позволь мне снять его!

— Можешь, — засмеялась Зиночка. — Не поймай! Статский советник, все тебя боятся, а с клопом справиться не можешь!

— Зинечка, при постороннем человеке... (вздох). Вечно ты... Ей-богу...

— Синий, спать не дают! — проворчал я, сердясь сам не зная чего.

Но скоро супруги утихли. Я закрыл глаза, стал ни о чём не думать, чтобы уснуть. Но прошло полчаса, час... и я не спал. В конце концов и соседи мои заворочались и отали шепотом браниться.

— Удивительно, даже персидский порошок ничего не берет! — проворчал Федя. — Так их много, этих клопов! Доктор! Зиночка просит меня спросить вас: отчего это клопы так морко пахнут?

Мы разговорились. Поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой так же мало смысла, как в астрономии; поговорили об Эдисоне...

— Ты, Зиночка, не стесняйся... Ведь, он доктор! — услышал я шепот после разговора об Эдисоне. — Не церемонься и спроси... Бояться нечего. Шервецов не помог, а этот, может быть, и поможет.

— Спроси сам! — прошептала Зиночка.

— Доктор, — обратился ко мне Федя, — отчего это у моей жены в груди теснение бывает? Кашель, зицете ли... теснит, точно, знаете ли, запеклось что-то...

— Это длинный разговор, сразу нельзя сказать... — попытался я увернуться.

— Ну, так что ж, что длинный? Время есть... все одно, не спим... Посмотрите ее, голубчик! Надо вам заметить, лечит ее Шервецов... Человек-то он хороший, но... кто его знает? Не верю я ему! Не верю! Вину, вам не хочется, но будьте так добры! Вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчики поставить.

Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окруженнная множеством подушек, и поддерживала свой кружевной воротничок.

— Покажите язык! — начал я, садясь около нее и хмуря брови.

Она показала язык и засмеялась. Язык был обыкновенный, красный. Я стал щупать пульс.

— Гм!.. — промычал я, не найдя пульса.

Не помню, какие еще вопросы задавал я, глядя на ее смеющееся лицико, помню только, что под конец моей диагностики я

был уже таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов.

Наконец, я сидел в компании Феди и Зиночки за самоваром; надо было написать рецепт, и я сочинил его по всем правилам врачебной науки:

Rp. Sic transit 0,95

Gloria mundi 1,0

Aqua destillatae 0,1

Через два часа по столовой ложке.

Г-ко Сыловой.

Д-р Зайцев.

Утром, когда я, совсем уже готовый к отъезду, с чемоданом в руке, проходил навстречу моим новым знакомым, Федя держал меня за пуговицу и, подавая десятирублевку, убеждал:

— Нет, вы обязаны взять! Я привык платить за всякий честный труд! Вы учились, работали! Ваши знания достались вам потом и кровью! Я понимаю это!

Ничего было делать, пришлось взять десятирублевку.

Так в общих чертах провел я ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые я испытывал, когда предо мной отворилась дверь и судебный пристав указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнев и сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на меня глаз; и я прочел себе отходную, когда заглянул на серьезные, торжественно-важные физиономии присяжных...

Но я не могу описать, а вы представить себе, моего ужаса, когда я, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, увидел на прокурорском месте — кого бы вы думали? — Федя! Он сидел и что-то писал. Гляди на него, я вспомнил клопов, Зиночку, свою диагностику, и не мороз, а целый Ледовитый океан пробежал по моей спине... Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала он меня не узнал, но потом врачи его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла... рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд. И тоже поднялся, сам не знаю для чего, и впился в него глазами...

— Подсудимый, назовите суду ваше имя и проч., — начал председатель.

Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу.

— Ну, быть бане! — подумал я.

По всем признакам, прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, наприскучил, брюзжал...

Но, однако, пора кончить. Пишу это в здании суда, во время обеденного перерыва... Сейчас будет речь прокурора.

Что-то будет?

ПЕРЕПОЛОХ.

Машенька Павлецкая, молоденькая, едва только кончившая курс института, вернувшись с прогулки в дом Кушниных, где она жила в гувернантках, настала необыкновенный переполох. Отворивший ей штейцар Михайло был взволнован и красен, как рак.

Сверху доносился шум.

«Вероятно, с хозяйкой припадок... — подумала Машенька, — или с мужем поссорилась...»

В передней и в коридоре встретила она горничных. Одна горничная плакала. Затем Машенька видела, как из дверей ее комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеич, маленький, еще не старый человек с обрюзгшим лицом и с большой плестью. Он был красен. Его передергивало... Не замечая гувернантки, он прошел мимо нее и, поднимая вверх руки, воскликнул:

— О, как это ужасно! Как бестакто! Как глупо, дико! Меркано!

Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в жизни пришлось испытать во всей остроте чувство, которое так знакомо людям зависимым, безответственным, живущим на хлебах у богатых и знатных. В ее комнате делали обыск. Хозяйка Федосья Васильевна, полная, плечистая дама с густыми черными бровями, простоволосая и угловатая, с едва заметными усииками и с красными руками, лицом и манерами похожая на простую бабу-кухарку, стояла у ее стола и выкладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти, лоскутки, бумаги... Очевидно, появление гувернантки было для нее неожиданно, так как, оглянувшись и увидев ее бледное, удивленное лицо, она слегка смущилась и пробормотала:

— Pardon, я... я начально рассыпала... зацепила рукавом...

И сказав еще что-то, мадам Кушнина запуршила шлейфом и вышла. Машенька обвела удивленными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, покачала плечами, похолодела от страха... Что Федосья Васильевна искала в ее сумке? Если действительно, как она говорит, она начально зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комнаты такой красивый и взмолнованный Николай Сергеич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Копилка, в которую гувернантка прятала гривенники и старые марки, была отперта. Ее отперли, но запереть не сумели, хотя и исцарапали весь замок. Эта же кружка с инигами, поверхность стола, постель — все носило на себе свежие следы обыска. И в корзине с бельем тоже. Белье было сложено аккуратно, но не в том порядке, в каком оставил его Машенька, уходя из дома. Обыск, значит, был настоящий, самый настоящий, но и чему он, зачем? Что случилось? Машенька вспомнила волнение штейцара, переполох, который все еще продолжался, запаханную горничную; не имело ли все это связи с только-что бывшим

у нее обыском? Не замешана ли она в каком-нибудь страшном деле? Машенька побледнела и вся холодная опустилась на корзину с бельем.

В комнату вошла горничная.

— Лиза, вы не знаете, зачем это меня... обыскивали? — спросила у нее гувернантка.

— У барыни пропала брошка в две тысячи... — сказала Лиза.

— Да, но зачем же меня обыскивать?

— Всех, барышня, обыскивали. И меня всю обыскали... Нас раздели всех до гола и обыскивали... А я, барышня, вот как перед богом... Не то, чтоб ихнюю брошу, но даже и туалету близко не подходила. Я и в полиции то же скажу.

— Но... зачем же меня обыскивать? — предполагала недоумевать гувернантка.

— Брошку, говорю, украдли... Барыня сама своими руками все обшарила. Даже штейцера Михайлу сами обыскивали. Чистый срам! Николай Сергеич только глядит да кудахчет, как курица. А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли! Ежели не вы брошку взяли, так вам и бояться нечего.

— Но ведь это, Лиза, низко... оскорбительно! — сказала Машенька, задыхаясь от негодования. — Ведь это подлость, низость! Какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах?

— В чужих людях живете, барышня, — задохнула Лиза. — Хоть вы и барышня, а все же... как бы прислуга... Это не то, что у папаши с мамашей жить...

Машенька понялась в постель и горько зарыдала. Никогда еще над нею не совершили такого насилия, никогда еще ее так глубоко не оскорбляли, как теперь... Ее, благовоспитанную, чувствительную девицу, дочь учителя, заподозрили в воровстве, обыскали, как уличную женщину! Выше такого оскорблении, кажется, и придумать нельзя. И к этому чувству обиды присоединился еще тяжелый страх: что теперь будет?! В голову ее полезли всякие несобразности. Если ее могли заподозрить в воровстве, то, значит, могут теперь арестовать, раздеть до гола и обыскать, потом вести под конвоем по улице, засадить в темную, холодную камеру с мышами и мокрицами, точь-в-точь в такую, в какой сидела книжка Тараканова. Кто вступится за нее? Родители ее живут далеко в провинции; чтобы приехать к ней, у них нет денег. В столице она одна, как в пустынном поле, без родных и знакомых. Что хотят, то и могут с ней сделать.

«Побегу ко всем судьям и защитникам... — думала Машенька, дрожа. — Я объясню им, присягну... Они поверят, что я не могу быть воровкой!»

Машенька вспомнила, что у нее в корзине под простынями лежат сладости, которые она, по старой институтской привычке, прятала за обедом в карман и уносила к себе в комнату. От мысли,

что эта ее маленькая тайна уже известна хозяевам, ее бросило в жар, стало стыдно, и от всего этого — от страха, стыда, от обиды началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот.

— Пожалуйте кушать! — позвали Машеньку.

«Ити или нет?»

Машенька поправила прическу, утерлась мокрым полотенцем и пошла в столовую. Там уже начали обедать... За одним концом стола сидела Федосья Васильевна, винная, с туным, серьезным лицом, за другим — Николай Сергеич. По сторонам сидели гости и дети. Обедать подавали два лакея во франах и белых перчатках. Все знали, что в доме переполох, что хозяйка в горе, и молчали. Слышны были только жеванье и стук ложек о тарелки.

Разговор начала сама хозяйка.

— Что у нас к третьему блюду? — спросила она у лакея темным, страдальческим голосом.

— Детуркой аля рюс! — ответил лакей.

— Это, Фея, я заказал... — поторопился сказать Николай Сергеич. — Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, та chèvre, то пусть не подают. Я ведь это так... между прочим...

Федосья Васильевна не любила кушаний, которые заказывала не она сама, и теперь глаза у нее наполнились слезами.

— Ну, перестанем волноваться, — сказал сладким голосом Мамиков, ее домашний доктор, слегка насыпая ее руки и улыбаясь также сладко. — Мы и без того достаточно нервны. Забудем о броши! Здоровье дороже двух тысяч!

— Мне не жалко двух тысяч! — ответила хозяйка, и крупная слеза потекла по ее щеке. — Меня возмущает самый факт! Я не потерплю в своем доме воров. Мне не жаль, мне ничего не жаль, но красть у меня — это такая неблагодарность! Так платят мне за мою доброту...

Все глядела в свои тарелки, но Машеньке показалось, что после слов хозяйки на нее все взглянули. Комок вдруг подступил к горлу, она заплакала и прижала платок к лицу.

— Pardon, — пробормотала она. — Я не могу. Голова болит. Уйду.

И она встала из-за стола, неловко гремя стулом и еще больше смущаясь, и быстро вышла.

— Бог знает что! — проговорил Николай Сергеич, морщась. — Нужно было делать у нее обыск! Как это, право... некстати.

— Я не говорю, что она взяла брошку, — сказала Федосья Васильевна, — но разве ты можешь поручиться за нее? Я, признаюсь, плохо верю этим ученым беднячкам.

— Право, Фея, некстати... Извини, Фея, но по закону ты не имеешь никакого права делать обыски.

— Я не знаю ваших законов. Я только знаю, что у меня пропала брошка, пот и все. И я найду эту брошку! — она ударила по

теряло силой, и глаза у нее гневно сверкали. — А вы ешьте и не извиняйтесь в мои дела!

Николай Сергеич кротко опустил глаза и задохнулся. Машенька между тем, придя к себе в комнату, певалилась в постель. Ей уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило ее сильное желание пойти и отдохнуть по щекам эту черствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину.

Лежа, она дышала в подушку и мечтала о том, как бы хорошо было пойти теперь кушать самую дорогую брошь и бросить ее в лицо этой самодурке. Если бы бог дал, Федосья Васильевна разорилась, пошла бы по миру и понила бы весь ужас нищеты и подноготного состояния и если бы оскорблена Машенька подала ей милостыню. О, если бы получить большое наследство, кушать коляску и прокатить с шумом мимо ее окон, чтобы она позавидовала!

Но все это мечты, в действительности же осталось только одно — поскорее уйти, не оставаться здесь ни одного часа. Правда, страшно потерять место, опить ехать к родителям, у которых ничего нет, но что же делать? Машенька не могла видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты, ей было здесь душно, жутко. Федосья Васильевна, помешанная на болезнях и на своем минимум аристократизме, спротивила ей до того, что, кажется, все на свете стало грубо и неприглядно оттого, что живет эта женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться.

— Можно войти? — спросил за дверью Николай Сергеич; он подошел к двери неслышно и говорил тихим мягким голосом.— Можно?

— Войдите.

Он вошел и остановился у двери. Глаза его глядели тускло и красивы носик его лоснился. После обеда он пил пиво, и это было заметно по его походке, по слабым, вялым рукам.

— Это что же? — спросил он, указывая на корзину.

— Укладывается. Простите, Николай Сергеич, но я не могу более оставаться в нашем доме. Мени глубоко оскорбил этот обыск!

— Я понимаю... Только вы это напрасно... Зачем? Обыскали, а вы того... что вам от этого? Вас не убудет от этого.

Машенька молчала и продолжала укладываться. Николай Сергеич пощипал свои усы, как бы придумывая, что сказать еще, и продолжал запекающим голосом:

— Я, конечно, понимаю, но надо быть спиродательной. Знаете, моя жена нервная, избалованная, нельзя судить строго...

Машенька молчала.

— Если уж вы так оскорблены, — продолжал Николай Сергеич, — то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините.

Машенька ничего не ответила, а только нико нагнулась к своему чемодану. Этот испитой, нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживала и

лишнего человека даже у прилуки; и извинение его тоже ничего не значило.

— Гм... Молчите? Вам мало этого? В таком случае я за жену извиняюсь. От имени жены... Она поступила нетактично, я признаю, как дворянин...

Николай Сергеич прошелся, вздохнул и продолжал:

— Вам надо еще, значит, чтобы у меня новыряло вот тут, под сердцем... Вам надо, чтобы меня совесть мучила...

— Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты, — сказала Машенька, глядя ему прямо в лицо своими большими, запла-канными глазами. — Зачем же вам мучиться?

— Конечно... Но вы все-таки того... не уезжайте... Прошу Вас...

Машенька отрицательно покачала головой. Николай Сергеич остановился у окна и забарабанил по стеклу.

— Для меня подобные недоразумения — это чистая пытка, проговорил он. — Что же мне на колени перед вами становиться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вот вы плакали, собираетесь уехать, но ведь и у меня тоже есть гордость, а вы ее не щадите. Или хотите, чтоб я сказал вам то, чего и на исповеди не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался в том, в чем даже пред смертью духу не признаюсь?

Машенька молчала.

— И взял у жены брошику! — быстро сказал Николай Сергеич. — Довольны теперь? Удовлетворены? Да, я... взял... Только, конечно, и надеюсь на вашу сиромость... Ради бога, никому ни слова, ни пол-намека!

Машенька, удивленная и испуганная, продолжала укладываться; она хватала свои вещи, мыла их и беспорядочно складывала в чемодан и корзину. Теперь, после откровенного признания, сделанного Николаем Сергеевичем, она не могла оставаться ни одной минуты и уже не понимала, как она могла жить раньше в этом доме.

— И удивляться нечего... — продолжал Николай Соргинич, помолчав немного. — Обыкновенная история! Мне деньги нужны, а она... не дает. Ведь этот дом и все это мой отец наживал, Марья Андреевна! Все ведь это мое, и брошка принадлежала моей матери, и... все мое! А она забрала, заподела всем... Не судиться же мне с ней, согласитесь... Прощу вас убедительно, извините и... и останьтесь. Tout comprendre, tout pardonner. Оставтесь?

— Нет! — сказала Машенька решительно, начиная дрожать. — Оставьте меня, умоляю вас.

— Ну, бог с вами, — вздохнул Николай Сергеич, садясь на скамеечку около чемодана. — Я, признаюсь, люблю тех, кто еще умеет оскорбляться, презирать и прочее. Век бы сидел и на ваше негодяйское лицо глядел... Так, стало быть, не остается? Я понимаю... Иначе и быть не должно... Да, конечно... Вам-то

— Николай Сергеич! — послышался из залы голос Федоскии Всевольшевны. — Агап, позови барина!

— Так не оставайся? — спросил Николай Сергеич, — быстро поднимайся иди к двери. — А то бы остались, ей богу. Вечерком я выходил бы к вам... толковали бы. А? Останьтесь! Уйдете вы, и во всем доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь это ужасно!

Бледное, испитое лицо Николая Сергеича умоляло, но Машенька отрицательно покачала головой, и он, махнув рукой, вышел.

Через различные оби были узел в дорога.

БЕСЕДА ПЬЯНОГО С ТРЕЗВЫМ ЧОРТОМ

Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лахматов, сидел у себя за столом и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампыглянула на него чорт... Но не пугайтесь, читательница. Вы знаете, что такое чорт? Это молодой человек приятной наружности с черной, как сапоги, рожей и с красными, выразительными глазами. На голове у него, хотя он и не женат, рожки... Прическа à la Капуя. Тело покрыто зеленою шерстью и пахнет искрой. Виши спины болтается хвост, скакивающийся стрелой... Вместо пальцев когти, вместо ног — лошадиные копыта. Лахматов, увидев чорта, несколько смущился, но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, скоро успокоился.

— С кем я имею честь говорить? — обратился он к непрощенному гостю.

Чорт сконфузился и потушил глазки.

— Вы не стесняйтесь, — продолжал Лахматов. — Подойдите ближе... Я человек без предрассудков, и вы можете говорить со мной искренно... по душу... Кто вы?

Чорт нерешительно подошел к Лахматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился.

— Я чорт, или дьявол... — отрезонемировался он. — Состою чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии г. Сатаны!

— Слышал, слышал... Очень приятно. Садитесь! Не хотите ли волка? Очень рад... А чем вы занимаетесь?

Чорт еще больше сконфузился...

— Собственно говоря, занятый у меня определенных нет... — ответил он, в смущении кашляя и сморкаясь в «Ребус». — Прежде, действительно, у нас было занятие... Мы людей искашали... сокращали их с пути добра на стезю зла... Теперь же это занятие, антр-иу-суди, и позора не стоит... Пути добра нет уже, не с чего сокращать. И к тому же люди стали хитрее нас... Извольте-ка вы искушить человека, когда он в университете все науки кончил, огонь, воду и медные трубы прошел! Как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уже без моей помощи тысячи цапнули?

— Это так... Но, однако, ведь вы занимаетесь же чем-нибудь?

— Да... Прекрасная должность наша теперь может быть только номинальной, но мы все-таки имеем работу... Искашаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пынных купцов бить зеркала... В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся... Ни рожна мы в этом не смыслим... Многие из нас сотрудничают в «Ребусе», есть даже такие, которые бросили ед и поступили в люди... Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты; вообще очень дальние и уважаемые люди!

— Извините за нескромный вопрос: какое содержание вы получаете?

— Положение у нас прежнее-с... — ответил чорт. — Штат несколько не изменился... Попрежнему квартира, освещение и отопление казенные... Жалованья же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными, и потому, что чорт — должность почетная... Вообще, откровенно говоря, плохо живется, хоть по миру иди... Спасибо людям, научили нас взятки брать, а то бы давно уже мы переколели... Только и живем доходами... Поставишь грехи ником прощанию, ну и... ханниши... Сатана постарел, ездит все на Цукки смотреть, не до отчетности ему теперь...

Лахматов налил чорту рюмку водки. Тот выпил и разговарился. Рассказывал он все тайны ада, извел свою душу, поспакал и так понравился Лахматову, что тот оставил его даже у себя ночевать. Чорт спал в печке и всю ночь бредил. К утру он исчез.

1886.

АКТЕРСКАЯ ГИБЕЛЬ.

Благородный отец и простак Щипцов, высокий, плотный старик, славившийся не столько эстетическими дарованиями, сколько своей необычайной финансовой силой, «адыаг» поругался во время спектакля с антрепренером и в самый разгар руготни вдруг почувствовал, что у него в груди что-то оборвалось. Антрепренер Жуков обыкновенно в конце каждого горячего объяснения начинал истерически хохотать и падать в обморок, но Щипцов на сей раз не стал дожидаться такого конца и поспешно в

своих. Брань и ощущение разрыва в груди так взволновали его, что, уходя из театра, он забыл смыть с лица грим и только сорвал бороду.

Придя к себе в номер, Щипцов долго шагал из угла в угол, потом сел на кровать, подпер голову кулаками и задумался. Не шевелось и не издав ни одного звука, просидел он таким образом до двух часов другого дня, когда в его номер вошел комик Сигаев.

— Ты что же это, Шут Иванович, на реферицию не приходил? — набросился на него комик, пересиливая одышку и наполняя номер запахом винного перегара. — Где ты был?

Щипцов ничего не ответил и только взглянул на комика мутными, подкрашенными глазами.

— Хоть бы ронку-то вымыл! — продолжал Сигаев. — Стыдно глядеть! Ты натрескался, или... болен, что ли? Да что ты молчишь? Я тебя спрашиваю: ты болен?

Щипцов молчал. Как ни была опачкана его физиономия, но комик, взглянувшись попристальнее, не мог не заметить поразительной бледности, пота и дрожания губ. Руки и ноги тоже дрожали, да и все громадное тело верзилы-простакаказалось помятым, приплюснутым. Комик быстро оглядел номер, но не увидел ни штобов, ни бутылок, ни другой какой-либо подозрительной посуды.

— Знаешь, Минутка, а ведь ты болен! — вскричался он. — Накажи меня бог, ты болен! На тебе лица нет!

Щипцов молчал и уныло глядел в пол.

— Это ты простудился! — продолжал Сигаев, баря его за руку. — Ишь какие руки горячие! Что у тебя болит?

— До... домой хочу, — пробормотал Щипцов.

— А ты нечто сейчас не дома?

— Нет... в Вязьму...

— Эх, куда захотел! До твоей Вязьмы и в три года не доехать... Что, к папашеньке и мамашеньке захотелось? Чай, давно уж они у тебя сгинули, и могилок их не смыть...

— У меня там ро... родина...

— Ну, нечего, нечего мерлехлюдию распускать. Эта психология чувств, брат, последнее дело... Выдорвалий, да завтра тебе куплю в «Князе Серебряном» Митыку играть. Больше ведь некому. Выней-на чего-нибудь горячего, да кастрюли прими. Есть у тебя деньги на кастрюку? Или постой, я сбегаю и куплю.

Комик пошарил у себя в карманах, нашел пятиалтынный и побежал в аптеку. Через четверть часа он вернулся.

— На, пей! — сказал он, поднося ко рту благородного отца склянку. — Пей прямо из пузырька... Равом! Вот так... На, теперь гвоздичкой закуси, чтоб душа этой дрянью не провоцила.

Комик посидел еще немного у больного, потом нежно поцеловал его и ушел. К вечеру забегал к Щипцову юнга-гравиер Брама-Глинский. Даровитый артист был в прониковых полу-саножках, имел на левой руке перчатку, нурил сигару и даже

издавал запах гелиотропа, но тем не менее все-таки сильно напоминал путешественника, заброшенного в страну, где нет ни башни, ни прачечи, ни портных...

— Ты, я слышал, заболел? — обратился он к Щипцову, перевернувшись на наблуке. — Что с тобой? Ей-богу, что с тобой?..

Щипцов молчал и не шевелился.

— Что же ты молчишь? Дурнота в голове, что ли? Ну, молчи, не стану приставать... молчи...

Брама-Глинский (так он зовется по театру, в паспорте же он называется Гусыновым) отошел к окну, заложил руки в карманы и стал глядеть на улицу. Перед его глазами расстипалась громадная пустошь, огороженная серым забором, вдоль которого тянулся целый лес прошлогоднего репейника. За пустошью темнела чья-то заброшенная фабрика с наглухо забитыми окнами. Около трубы кружилась запоевавшая галка. Вся эта скучная, безжизненная картина начинала уже подергиваться вечерними сумерками.

— Домой надо! — услышал јеппе-premier.

— Куда это домой?

— В Вязьму... на родину...

— До Вязьмы, брат, тысяча пятьсот верст... — задохнулся Брама-Глинский, барабани по стеклу. — А зачем тебе в Вязьму?

— Там бы помереть...

— Ну, вот еще, выдумал! Помереть... Заболел первый раз в жизни и уж воображает, что смерть пришла... Нет, брат, такого буйвола, как ты, никакой холера не проберет. До ста лет проживешь... Что у тебя болит?

— Ничего не болит, но я... чувствую...

— Ничего ты не чувствуешь, а все это у тебя от лишнего здоровья. Смы в тебе бушуют. Тебе бы теперь дербалызануть хорошенечко, выпить этак, знаешь, чтоб во всем теле пертурбация произошла. Пьянство отлично освежает... Помнишь, как ты в Ростове-на-Дону насвистался? Господи, даже вспомнить страшно! Бочонок с вином мы с Сашкой вдвое еле-еле доносли, а ты его один выпил, да потом еще за рюмку послал... Дошелся до того, что чертей мешком ловил и газовый фонарь с корнем вырвал. Помнишь? Тогда еще ты ходил греков бить...

Под влиянием таких приятных воспоминаний лицо Щипцова несколько прояснилось и глаза блестели.

— А помнишь, как я антрепренера Савойкина был? — забормотал он, поднимая голову. — Да что говорить! Был я на своем веку тридцать трех антрепренеров, а что меньшей братии, то и не упомню. И каких антрепренеров-то был! Таких, что и ветрам не позволили до себя касаться! Двух знаменитых писателей был, одного художника!

— Что же ты плачешь?

— В Херсоне лошадь кулаком убил. А в Таганроге напали раз на меня ночью исламы, человек пятнадцать. Я поснимал с них шапки, а они идут за мной да просят: «Дяденька, отдашь шапку!» Такие-то дела.

— Что ж ты, дурило, плачешь?

— А теперь шабаш... чувствую. В Вязьму бы ехать!

Наступила пауза. После молчания Щипцов вдруг вскочил и схватился за шапку. Вид у него был расстроенный.

— Прещай, в Вязьму еду! — проговорил он, покачиваясь.

— А деньги на дорогу?

— Гы!.. Я цепком пойду!

— Ты ошалел!..

Оба заглянули друг на друга, вероятно, потому, что у обоих мелькнула в голове одна и та же мысль — о необозримых полях, нескончаемых лесах, болотах.

— Нет, ты, я зижу, спятил! — решил јеппе-premier. — Вот что, брат... Первым делом ложись, потом выпей коньяку с чаем, чтоб и пот ударило. Ну, и кастрорки, конечно. Постой, где бы коньяку взять?

Брама-Глинский подумал и решил сходить к купчихе Циринской, попытать ее на счет кредитов: авось, баба скажется — отпустит в долг! Јеппе-premier отправился и через полчаса вернулся с бутылкой коньяку и с кастроркой. Щипцов попрежнему сидел неподвижно на кровати, молчал и глядел в пол. Предложенную товарищем кастрорку он выпил, как автомат, без участия сознания. Как автомат сидел он потом за столом и пил чай с коньяком: машинально выпил всю бутылку и дал товарищу уложить себя в постель. Јеппе-premier укрыл его одеялом и пальто, посоветовал пропотеть и ушел.

Наступила ночь. Коньяку было выпито много, но Щипцов не спал. Он лежал неподвижно под одеялом и глядел на темный потолок, потом, увидев луну, глядевшую в окно, он перекрестил глаза с потолка на спутницу земли и так пролежал с открытыми глазами до самого утра. Утром, часов в девять, прибежал антрепренер Жуков.

— Что это вы, ангел, хворать задумали? — закудахтал он, морща нос. — Ай! ай! Нешто при вашей комплекции можно хворать? Стыдно, стыдно! А я, знаете, испугался! Ну, неужели, думаю, на него наш разговор подействовал? Душенька моя, надеюсь, что вы не от меня заболели! Ведь и вы меня, тово... И к тому же между товарищами не может быть без этого. Вы меня там в ругали, и... с кулаками даже леали, а я вас люблю! Ей-богу, люблю! Уважаю и люблю! Ну, вот объясните, ангел, за что и вас так люблю? Не родня вы мне, не снант, не жена, а как узан, что вы прихворнули, — словно кто ножом резнул.

Жуков долго обмылся в любви, потом полез целоваться и в конце концов так расчувствовался, что начал истерически хохотать и хотел даже упасть в обморок, но спохватившись

вероятно, что он не у себя дома и не в театре, отложил обморок до более удобного случая и уехал.

Вскоре после него явился трагик Адабашев, личность тусклая, подслеповатая и говорящая в нос... Он долго глядел на Щипцова, долго думал и вдруг сделал открытие:

— Знаешь что, Мира? — спросил он, пропиная в нос вместо ш—ф и придавая своему лицу таинственное выражение. — Знаешь что? Тебе нужно выпить касторки!

Щипцов молчал. Молчал он и немного погодя, когда трагик вливал ему в рот противное масло. Часа через два после Адабашева пришел в номер театральный парикмахер Евдемпий, или, как называли его почему-то актеры, Риголетто. Он тоже, как и трагик, долго глядел на Щипцова, потом вздохнул, как паровоз, и медленно, с расстановкой начал разматывать привезенный им узел. В узле было десятка два банок и несколько пузырьков.

— Послали бы за мной, и я бы вам давно банки поставил! — сказал он нежно, обнажая грудь Щипцова. — Запустить болезнь не трудно!

Засим Риголетто погладил ладонью широкую грудь благодатного отца и покрыл ее всю кровососными банками.

— Да-с... — говорил он, увиливая после этой операции свои орудия, обагренные кровью Щипцова. — Прислали бы за мной, и я пришел бы... Насчет денег беспокоиться нечего... Я из жалости... Где вам взять, ежели тот идол платить не хочет? Танцеря вот извольте капель этих принять! Вкусные капли! А танцеря извольте маслица выпить. Кастрюка самая настоящая. Вот так! На здоровье! Ну, а танцеря прощайтесь...

Риголетто взял свой узел и, довольный, что помог ближнему, удалился.

Утром следующего дня комик Сигаев, заходя к Щипцову, застал его в ужаснейшем состоянии. Он лежал под пальто, тяжело дышал и водил блуждающими глазами по потолку. В руках он судорожно держал скомканное одеяло.

— В Вязьму! — зашептал он, увидав комика. — В Вязьму!

— Вот это, брат, уж мне и не нравится! — развел руками комик. — Вот... вот... вот это, брат, и нехорошо! Извини, но... даже, брат, глупо...

— В Вязьму надо! Ей-богу, в Вязьму!

— Не... не ожидал от тебя!.. — бормотал совсем растерявшийся комик. — Чорт знает! Чего ради расказыши! Э... э... э... и нехорошо! Верзила, с каланчу ростом, а плачешь... Нешто автору можно плакать?

— Ни жены, ни детей, — бормотал Щипцов. — Не ити бы в актеры, а в Вязьме жить! Пропала, Семей, испань! Ох, в Вязьму бы!

— Э... э... э... и нехорошо! Вот и глупо... подло даже!

Успокоившись и приведя свои чувства в порядок, Сигаев стал утешать Щипцова, враз ему, что товарищи порешали его

на общий счет в Крым отправить и проч., но тот не слушал и все бормотал про Вязьму... Наконец, комик махнул рукой и, чтобы утешить больного, сам стал говорить про Вязьму.

— Хороший город! — утешал он. — Отличный, брат, город! Принципами прославился. Принципы классические, но — между нами говоря — того... подгуляли. После них у меня целую неделю потом был того... Но что там хорошо, так это купец! Всем купцам купец. Ум коли угостит тебя, так угостит!

Комик говорил, а Щипцов молчал, слушал и одобрительно кивал головой.

К вечеру он умер.

1935.

ГЛУПЫЙ ФРАНЦУЗ.

Клоун из цирка братьев Глици, Генри Пуркуа, зашел в московский trattier Тестова поизтракать.

— Дайте мне поносом! — приказал он половому.

— Принимаете с паштотом или без паштота?

— Нет, с паштотом слишком сътно... Две-три гренки, пожалуй, дайте...

В соннике, пока подадут поносом, Пуркуа занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полиний, благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины.

«Как, однако, много подают в русских ресторанах! — подумал француза, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. — Пять блинов! Разве один человек может съесть так много теста?»

Сосед между тем помазал блины икрой, разрезал все их на половники и проглотил скорее, чем в пять минут...

— Чепаэк! — обернулся он к половому. — Подай еще порцию! Да что у вас за порции такие? Подай сразу штук десять или пятнадцать! Дай балыка... семги, что ли!

«Странно... — подумал Пуркуа, рассматривая соседа. — Съел пять кусков теста и еще просит! Впрочем, такие феномены не составляют редкости... У меня у самого в Бретани был дядя Франсуа, который на пари съедал две тарелки супу и пять бараных колбет... Говорят, что есть также болезни, когда много едят...»

Половой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки с балыком и семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К величию удивлению Пуркуа, ел он их спеша, едва разжевывая, как голодный...

«Очевидно, болен... — подумал француз. — И неужели он, чудак, воображает, что съест всю эту гору? Не съест и трех кусков, как жалудок его будет уже полон, а ведь придется платить за всю гору!»

— Дай еще икры! — крикнул сосед, утирая салфеткой ма-
сяные тубы. — Не забудь зеленого лука!

«Но... однако, уж половины горы нет! — ужаснулся клоун. —
Боже мой, он и всю семгу съел? Это даже неестественно... Не-
ужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть!
Как бы ни был растяжим желудок, но он не может растянуться за
пределы живота... Будь этот господин у нас во Франции, его по-
наизванием бы за деньги... Боже, уже нет горы!»

— Подать бутылку Нюи... — сказал сосед, принимая от
полового икры и лук. — Только погрей сначала... Что еще? По-
жалуй, дай еще порцию блинов... Поскорей только...

— Слушаю... А на после блинов что прикажете?

— Что-нибудь полегче... Закажи порцию селянки из осет-
рины по-русски и... и... Я подумаю, ступай!

«Может быть, это мне снится? — изумился клоун, откидываясь на спинку стула. — Этот человек хочет умереть! Нельзя
безнаказанно съесть такую массу! Да, да, он хочет умереть. Это
видно по его грустному лицу. И неужели прислуге не кажется
подозрительным, что он так много ест? Не может быть!»

Пуркуа подозвал к себе полового, который служил у сосед-
него стола, и спросил шепотом:

— Послушайте, зачем вы так много ему подаете?

— То есть, в... э... они требуют-с! Как же не подавать-с? —
удивился полововой.

— Странно, но ведь он таким образом может до вечера
сидеть здесь и требовать! Если у вас у самих не хватает сме-
лости отказывать ему, то дожните метр-д'отель, пригласите по-
лицию!

Половой ухмыльнулся, пожал плечами и отошел.

«Дикари! — возмутился про себя француз. — Они еще рады,
что за столом сидит сумасшедший, самоубийца, который может
съесть на лишний рубль! Ничего, что умрет человек, была бы
только выручка!»

— Порядки, ничего сказать! — проворчал сосед, обращаясь
к французу. — Меня ужасно раздражают эти длинные антракты!
От порции до порции изволь ждать полчаса! Этак и аппетит про-
падает к черту, и опоздаешь... Сейчас три часа, а мне к пяти надо
быть на юбилейном обеде.

— Pardon, monsieur, — побледнев Пуркуа, — ведь вы уж
обедаете!

— Не-ст... Какой же это обед? Это завтрак... блины...

Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку,
поперчил кайенским перцем и стал хлебать...

«Бедняга... — продолжал ужасаться француз. — Или он болен и не замечает своего опасного состояния, или же он делает все это нарочно... с целью самоубийства... Боже мой, знаи я, что наткнулся здесь на такую картину, то ни за что бы не пришел сюда! Мои первы не выносят таких еден!»

И француз сожалением стал рассматривать лицо соседа,
каждую минуту опасаясь, что вот-вот начнутся с ним судороги,
какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасного пари...

«Понимаому, человек интеллигентный, молодой... полны
сил... — думал он, гляди на соседа. — Быть-может, приносит
нему своему отечеству... и весьма возможно, что имеет моло-
дую жену, детей... Судя по одежде, он должен быть богат, дово-
ден... но что же заставляет его решаться на такой шаг?.. И не-
ужели он не мог избрать другого способа, чтобы умереть? Чорт
знает, как дешево ценится жизнь! И как низок, бесчеловечен я,
сидя здесь и не идя к нему на помощь! Быть-может, его еще можно
спасти!»

Пуркуа решительно встал из-за стола и подошел к соседу.

— Послушайте, monsieur, — обратился он к нему тихим,
изредкиным голосом. — Я не имею чести быть знаком с вами, но
тем не менее, верьте, я друг ваш... Не могу ли я вам помочь
тем-нибудь? Вспомните, вы еще молоды... у вас жена, дети...

— Я вас не понимаю! — замотал головой сосед, тараща на
француза глаза.

— Ах, зачем скрываешься, monsieur? Ведь я отлично вижу!
Вы так много едите, что... трудно не подозревать...

— Я много ем?! — удивился сосед. — Я?! Полноте... Как
же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел?

— Но вы ужасно много едите!

— Да ведь не вам платить! Что вы беспоконитесь? И вовсе я
не много ем! Поглядите, ем, как все!

Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, тол-
каясь и налетая друг на друга, носили целые горы блинов... За
столами сидели люди и поедали горы блинов, семгу, икру... с
таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин.

«О, страна чудес! — думал Пуркуа, выходя из ресторана. —
Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса! О стра-
на, чудная страна!»

1856.

ПАНИХИДА.

В церкви Одигитриевской божией матери, что в селе Верхних
Запрудах, обедня только-что кончилась. Народ задвигался и валил из церкви. Не двинется один только лавочник Андрей Андреич, верхне-запрудский интеллигент и старожил. Он облокотился о перила правого клироса и ждет. Его бритое, жирное и бугристое
от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства: смиренье перед неисповедимыми судьбами и тупое, безграцичное высокомерие перед мимо проходящими тульскими и пестрыми платками. По слухам воскресного дня он одет франтом. На нем суконное пальто с желтыми костиными пуговицами, синие брюки на выпуск и солидные калоши, те самые

громадные, неуклюжие калоши, которые бывают на ногах только у людей положительных, рассудительных и религиозно-убежденных.

Его заплывшие, ленивые глаза обращены на иконостас. Он видит давно уже знакомые линии святых, сторожа Матвея, надевающего щеки и тушащего свечи, потемневшие ставничи, потертый ковер, дынчика Лопухова, стремительно выбегающего из алтаря и несущего ититору просфору... Все это давно уже видано и перевидано, как свои пять пальцев... Несколько, впрочем, странно и необыденно только одно: у северной двери стоит отец Григорий, еще не снимавший облачения, и сердито мигает своими густыми бровями.

«Кому это он мигает, дай бог ему здоровья!» — думает лавочник. — А, и пальцем закивал! И ногой топнул, скажи на милость... Что за оказия, мать царица? Кому это он?»

Андрей Андреич оглядывается и видит совсем уже опустевшую церковь. У дверей столпилось человек десять, да и те стоят спиной к алтарю.

— Иди же, когда зовут! Что стоишь, как извалило? — слышит он сердитый голос отца Григория. — Тебя зову!

Лавочник глядит на красное, разгневанное лицо отца Григория и тут только соображает, что миганье бровей и киванье пальца могут относиться и к нему. Он вздрагивает, отделяется от иллюстрации и неприметно, гремя своими солидными калошами, идет к алтарю.

— Андрей Андреич, это ты подавал на проскомидию за упокой Марии? — спрашивает батюшка, сердито вскидывая глазами на его жирное вспотевшее лицо.

— Точно так.

— Так, стало-быть, ты это написал? Ты?

И отец Григорий сердито тычет к глазам его записочку. А на этой записочке, поданной Андреем Андреичем на проскомидию вместе с просфорой, крупными, словно шатающимися буквами написано:

«За упокой рабы божией блудницы Марии».

— Точно так... я-с написал... — отвечает лавочник.

— Как же ты смел написать это? — протягивая щепчет батюшка, и в его сиплом шолоте слышатся гнев и испуг.

Лавочник глядит на него с тупым удивлением, недоумевает и сам пугается: отродясь еще отец Григорий не говорил таким тоном с верхне-запрудскими интеллигентами! Оба минуту молчат и засматривают друг другу в глаза. Недоумение лавочника там велико, что жирное лицо его расплывается во все стороны, как пролитое тесто.

— Как ты смел? — повторяет батюшка.

— Ко... кого-с? — недоумевает Андрей Андреич.

— Ты не понимаешь?! — шепчет отец Григорий, в изумлении делая шаг назад и всхлескивая руками. — Что же у тебя

на плечах: голова, или другой какой предмет? Подашь записку к иконописцу, а пишешь на ней слово, такое даже и на улице произносить непристойно! Что глаза пучишь? Нешто не знаешь, какой смысл имеет это слово?

— Это вы касательно блудницы-с? — бормочет лавочник, краснея и мигая глазами. — Но ведь господь, по благости своей, тоже... это самое, простила блудницу... место ей уготовал, да и из жития преподобной Марии Египетской видать, в каких смыслах это самое слово, извините...

Лавочник хочет привести в свое оправдание еще какой-то аргумент, но путается и утирает губы рукавом.

— Вот как ты понимаешь! — всхлескивает руками отец Григорий. — Но ведь господь простил — понимаешь? — простил, а ты осуждаешь, понеши, непристойным словом обзываешь, да еще иного! Усопшую dochь родную! Не только из священного, но даже из светского писания такого греха не вычитаешь! Повторю тебе, Андрей: мудрствовать не нужно! Да, мудрствовать, брат, не нужно! Коли дал тебе бог испытующий разум и смили ты не можешь управлять им, то лучше учи не винтай... Не винтай и молчи!

— Но ведь она того... извините, актерка была! — выговаривает ошеломленный Андрей Андреич.

— Актриса! Да кто бы она ни была, ты все после ее смерти заботы должны, а не то что на записках писать!

— Это точно... — соглашается лавочник.

— Наложить бы на тебя эпитецию, — басит из глубины алтаря дьякон, презрительно глядя на сконфуженное лицо Андрея Андреича, — так перестал бы умствоваться! Твоя dochь известная артистка была. Про ее кончину даже в газетах печатали... Философ!

— Оно, конечно... действительно... — бормочет лавочник, — слово не подходящее, но я не для осуждения, отец Григорий, а хотел по-божественному... чтоб вам видней было, за кого молит. Пишут же в поминальницах названия разные, в role там младенца Иоанна, утонувшими Пелагеи, Егора вонза, убийственного Павла и прочее разное... Так и я молил.

— Неразумно, Андрей! Бог тебя простит, но в другой раз остерегись. Главное, не мудрствуя и мысли по примеру прочих. Положи десять поклонов и ступай.

— Слушаю, — говорит лавочник, радуясь, что итогация уже кончилась, и опять придавал своему лицу выражение ламности и степенства. — Десять поклонов? Очень хорошо-с, понимаю. А теперь, батюшка, дозвольте и вам с просьбой... Потому, как я все-таки отец ей... сами знаете, а она мне, какая там ни на есть, все-таки dochь, то и тово... извините, собираюсь просить вас сегодня отступить от иконописи. И вас дозвольте просить, отец дьякон!

— Вот это хорошо! — говорит отец Григорий, разоблачаясь. — За это хвалю. Можно одобрить... Ну, ступай! Мы сейчас выйдем.

Андрей Андреич солидно шагает от алтари и красный, с торжественно-панихиным выражением лица останавливается посреди церкви. Сторон Матвей ставит перед ним столик с коливом, и немного погода панихида начиняется.

В церкви тишина. Слышен только металлический звук кадила да противное пение... Возле Андрея Андреича стоит сторон Матвей, повитуха Макарьевна и ее сынишка, сухорукий Митька. Больше никого нет. Дьячок поет плохо, неприятным, глухим басом, но напев и слова так печальны, что лавочник мало-по-малу теряет выражение степенства и погружается в грусть. Вспоминает он свою Машутку... Он помнит, что родилась она у него, когда он еще служил лакеем у верхне-запрудских господ. За лакейской суетой он и не замечал, как росла его девочка. Тот длинный период, когда она формировалась в грациозное создание с белокурой головкой и большими, как копейки, задумчивыми глазами, прошел для него незамеченным. Воспитывалась она, как и вообще все дети фаворитов-лакеев, в белом теле, около барышень. Господа, от ничего делать, вымучили ее читать, писать, танцевать, он же в ее воспитание не вмешивался. Изредка разве, случайно, сойдясь с ней где-нибудь у ворот, или на площадке лестницы, он вспоминал, что она его дочь и начинал, насколько хватало досуга, учить ее молитвам и священной истории. О, и тогда еще он слыл за инатока уставов и св. писания! Девочка, как ни хмуро и ни солидно было лицо отца, охотно слушала его. Молитвы повторяла она за ним зевая, но зато, когда он, заинтригованый и стараясь выразиться пофигурнее, начинал рассказывать ей истории, она вся превращалась в слух. Чечевица Исаака, казнь Содома и бедствия маленького мальчика Иосифа заставляли ее бледнеть и широко раскрывать голубые глаза.

Затем, когда он бросил лакейство и на скопленные деньги открыл в селе лавочку, Машутка уехала с господами в Москву...

За три года до своей смерти она приезжала и отцу. Он едва узнал ее. Это была молодая, стройная женщина, с манерами барыни и одетая по-господски. Говорила она по-умному, словно по книге, курила табак, спала до полудня. Когда Андрей Андреич спросил ее, чем она занимается, она, смело глядя ему прямо в глаза, объявила: «Я актриса!» Такая откровенность показалась бывшему лакею верхом цинизма. Машутка начала было хвастать своими успехами и актерским житием, но видя, что отец только баగровеет и разводит руками, умолкла. И молча, не гляди друг на друга, они прожили недели две, до самого отъезда. Перед отъездом она упросила отца пойти погулять с ней по берегу. Как ни жутко ему было гулять среди бела дня, из глазах всего честного народа с дочкой актрисой, но он уступил ее просьбам...

— Какие чудные у вас места! — восхищалась она, гуляя. — Что за овраги и болота! Боже, как хороша моя родина!

И она заплакала.

«Эти места только место занимают... — думал Андрей Андреич, тупо глядя на овраги и не понимая восторга дочери. — От них корысти, как от козла молока».

А она плакала, плакала и жадно дышала всей грудью, словно чувствовала, что ей недолго еще осталось дышать...

Андрей Андреич встряхивает головой, как укушенная лошадь, и, чтобы заглушить тяжелые воспоминания, начинает быстро креститься...

— Помилуй, господи, — бормочет он, — усошую рабу твою блудницу Марию и прости ей вольная и невольная...

Непристойное слово опять срывается с его языка, но он не замечает этого: что прочio засело в сознании, того, знать, не только наставлениями отца Григория, но и гвоздем не выковыришь! Макарьевна вздыхает и что-то шепчет, втягивая в себя воздух, сухорукий Митька о чем-то задумался...

— «...идеже несть болезни, печалей и воздыхания»... — гудит дьячок, прикрывая рукой правую щеку.

Из кадила струится синеватый дымок и купается в широком, иносом луче, пересекающем мрачную, безжизненную пустоту церкви. И кажется, вместе с дымом иссякает в луче душа самой усошой. Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну и словно сторонятся уныния и скорби, которые полна эта бедная душа.

1886.

АНЮТА.

В самом дешевом номере меблированных комнат «Лисабон» из угла в угол ходил студент-медик 3-го курса, Степан Клочков, и усердно изучил свою медицину. От неустанный, напряженной зубрачки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот.

У окна, подериутого у края ледяными узорами, сидела на табурете его жилица Анюта, маленькая, худенькая брюнетка лет 25-ти, очень бледная, с проктыми, серыми глазами. Согнувшись спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная... Коридорные часы сплошь прошли два пополудни, а в номерке еще не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье, большой, грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали очирики, сор на полу, — все,казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано...

— Правое легкое состоит из трех долей... — изучил Клочков. — Границы! Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4—5 ребер, на боковой поверхности до 4-го ребра... на зади до края scapulae...

Клочков, силясь представить себе только-что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра.

— Эти ребра похожи на рояльные клавиши, — сказал он. — Чтобы не спутаться в счете, и им непременно нужно привыкнуть. Придется поштудировать на скелете и на живом человеке... А ну-ка, Анюта, дай-ка, я ориентируюсь!

Анюта оставила вышиванье, сшила кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра.

— Гм... Первое ребро не прощупывается... Оно за юношей... Вот это будет второе ребро... Так-с... Это вот третью... Это вот четвертое... Гм... Там-с... Что ты изменишь?

— У вас пальцы холодные!

— Ну, ну... не умреши, не вертись. Стало-быть, это третье ребро, а это четвертое... Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. Это второе... это третью... Нет, стань спущаешься и не представишь себе испо... Придется нарисовать. Где мой уголек?

Клочков взял уголек и начертил им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам.

— Превосходно. Все, как на ладони... Ну-с, а теперь и постучать можно. Встань-ка!

Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выступанием, и так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы у Анюты покрасели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать, и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен.

— Теперь все ясно, — сказал Клочков, перестав стучать. — Ты сиди так и не стирай угли, а я пока подсоблю еще немножко.

И медик опять стал ходить и зубрить. Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съежившись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало, всегда молчала и все думала, думала...

За все шесть-семь лет ее штатки по меблированным комнатам, таких, как Клочков, знала она человек пять. Теперь, все они уже покончили курсом, вышли в люди и, конечно, как порядочные люди, давно уже забыли ее. Одни из них избраны в Париже, два докторами, четвертый художник, а пятый даже, говорят, уже профессор. Клочков — шестой... Скоро и этот кончит курс, выбьдет в люди. Несомненно, будущее прекрасно, и из Клочкова, вероятно, выбьдет большой человек, но настоящего совсем плохо: у Клочкова нет табаку, нет чаю, и сахара осталось четыре кусочка. Нужно как можно скорее оканчивать вышиванье, нести к закачине и потом купить на полученный четвертак и чаю, и табаку.

— Можно войти? — послышалось за дверью.

Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вшел художник Фетисов.

— А я к вам с просьбой, — начал он, обращаясь к Клочкову и зверски гляди из-под навесших на лоб волос. — Слейтайте одолжение, одолжите мне наше прекрасную девицу часика на два! Пишу, видите ли, картину, а без натуры никак нельзя!

— Ах, с удовольствием! — согласился Клочков. — Ступай, Анюта.

— Чего я там не видела! — тихо проговорила Анюта.

— Ну, полно! Человек для искусства просит, а не для пустяков наших-нибудь. Отчего же помочь, если можешь?

Анюта стала одеваться.

— А что вы пишете? — спросил Клочков.

— Ненхехо. Хороший сюжет, да все как-то не выходит; приходится все с рашин матрениц писать. Вчера писал одну с синими ногами. Почему, спрашиваю, у тебя синие ноги? Это, говорит, чулки липают. А вы все зубрите! Счастливый человек, терпение есть.

— Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрички.

— Гм... Извините, Клочков, но вы ужасно по-европейски живете! Чорт знает, как живете!

— То-есть как? Иначе нельзя жить... От батюхи я получаю только двенадцать в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно.

— Так-то так... — сказал художник и брезгливо поморщился, — но можно все-таки лучше жить... Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Не правда ли? А у вас тут чорт знает что! Постель не прибрали, помой, сор... вчерашняя наша из гардероба... тифу!

— Это пракада, — сказал медик и сконфузился, — но Анюте некогда было сегодня убрать. Все время занята.

Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лека, потом почалило усиул, и, проснувшись через час, подпер голову кулаками и мрачно задумался. Ему вспомнились слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком, и его обстановка в самом деле извадилась ему теперь противной, отталкивающей. Он точно бы проиграл умственный огонь то свое будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой, в обществе имены, порядочной именницы, — и теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятности гадин. Анюта тоже представлялась некрасивой, неряшливой, жалкой... И он решил расстаться с нею, немедля, во что бы то ни стало.

Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно:

— Вот что, моя милая... Садись и выслушай. Нам нужно расстаться! Одним словом, жить с тобою и больше не желаю.

Анюта вернулась от художника такая утомленная, изнеможенная. Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудело, и подбородок стал острый. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у нее задрожали.

— Согласись, что рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться, — сказал медик. — Ты хорошая, добрая, и ты не глупая, ты поймешь...

Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышиванье в бумагу, собрала нитки, иголки; сверток с четырьмя кусочками сахара нашла на окне и положила на столе возле инка.

— Это ваше... сахар... — тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы.

— Ну, что же ты плачешь? — спросил Клочкин.

Он прошелся по комнате в смущении и сказал:

— Странная ты, право... Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век же нам быть вместе.

Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься, и ему стало знать ее.

«Разве пусть еще одну неделю проживет здесь? — подумал он. — В самом деле, пусть еще проживет, а через неделю и веду ее уйти».

И досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово:

— Ну, что же стоишь! Уходить, так уходить, и не хочешь, так снимай шубу и оставайся! Оставайся!

Анюта сняла шубу, молча, потихоньку, потом выморкалась, тоже потихоньку, вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции — к табурету у окна.

Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол.

— Правое легкое состоит из трех долей... — зубрил он. — Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4—5 ребер...

А в коридоре кто-то кричал во все горло:

— Григорий, самовар!

1886.

О БРЕННОСТИ.

(Масленичная тема для проповеди.)

Надворный советник Семен Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента когда начнут подавать блины... Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина... Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водки, киевская наливка, шато-лароз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, вернистая икра (3 руб. 40 коп. за фунт), свинина, семги и проч. Подтыкин глядел на все это и жадно глотал слюнчи... Глаза его подернулись маслом, лицо покрасило сладострастием...

— Ну, можно ли так долго? — поморщился он, обращаясь к жене. — Скорее, Катя!

Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами... Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горя-

чих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочери... Подтыкин приятно улыбнулся, икнув от восторга и облизав их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облизал сметаной... Оставилось теперь только есть, не правда ли? Но нет... Подтыкин взглянул на дела руки своих и не удовлетворился... Подумав немножко, он положил на блины самый изысканный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернулся, оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот...

Но тут его хватил апоплексический удар.

1886.

ПЕРСОНА.

«ВАКАНСИЯ на должность писца имеется в канцелярии г. Податного Инспектора, на жалованье 250 руб. в год. Лица, окончившие по меньшей мере уездное училище, или 3 класс гимназии, должны обращаться с письмом с приложением своего жизнеописания, адресуя прошение на имя г. Податного Инспектора в д. Подышилиной по Гусиной улице».

Прочитав в двадцатый раз это объявление, Михаил Навалашников, молодой человек с прыщеватым лбом, с носом красным от застарелого насморка, в брюках кофейного цвета, походил, подумал и сказал, обращаясь к своей мамаше:

— Кончил я не три класса гимназии, а четыре. Потери у меня великолепнейший, хоть в писатели или в министры иди. Ну-с, а жалование, сами видите, великолепное — 20 руб. в месяц! При нашей бедности и бы и за пять пошел! Что ни говорите, а место самое подходящее, лучше и не надо... Только вот одно тут спирно, мамаша: жизнеописание писать нужно!

— Ну, так что ж? Возьми и напиши...

— Легко сказать: напиши! Чтоб сочинить жизнеописание, нужно талант иметь, а как его без таланта напишешь? А написать как-нибудь, зря, пятью через десятое, сами понимаете, неловко. Тут ведь сочинение не учителю подавать, а при прошении, в канцелярию вместе с документами! Мало того, чтоб было из хорошей бумаги и чисто написано, нужно еще, чтоб хороший слог был... Конечно! А то как вы думали? Ежели этот со стороны поглядеть на податного инспектора Ивана Андреевича, то он не виноват шиншина... Губернский секретарь, шесть лет без места ходил и по всем лавочкам должен, но ежели виноват, то не-е-т, мамаша, это персона, виноват личность! Видели, что в объявлении сказано? «Адресуй прошение»... Про-ше-ние! А прошения ведь подаются только значительным лицам! Нам с вами или дяденьке Илью Кузьмичу не подадут прошения!

— Это так... — согласилась мамаша. — А на что ему понадобилось твое жизнеописание?

— Этого не могу вам сказать... Должно быть, нужно!

Миша еще раз прочел объявление, заходил из угла в угол и отдался мечтам... Кто хоть раз в жизни сидел без места и томился от беды, знает, как избодораживают душу объявления в роде вышеписанного. Миша, с самой гимназии не съевший ни одного яства без того, чтоб его не попрекнули в дармоедстве, щеголивший в старых брюках дяденьки Нила Кузьмича и выходивший на улицу только по вечерам, когда не видно было его рваных сапог и облезлого пиджака, воспринул духом от одной только возможности получить место. 20 рублей в месяц — деньги не малые. Правда, на них лошадей не заведешь и свадьбы не сыграешь, но зато их вполне достаточно, чтобы в первый же месяц, как мечтал Миша, купить себе новые брюки, сапоги, фуражку, гармоничку и дать матери на провизию рублей 5—6. Как бы там ни было, маленькое жалованье гораздо лучше большого безденежья. Но Мишу не так занимали 20 рублей, как то блаженное время, когда мать перестанет колоть ему глаза его тунеядством и похуди реветь, а дядюшка Нил Кузьмич прекратит свои нотации и клятвенные обещания выпороть племянника-дармоеда.

— Чем шмургать-то из угла в угол, — перебила его мечтания мамаша, — сел бы лучше да и сочинил...

— Не умею я, мамаша, сочинять, — вздохнул Миша. — Признаюсь, я уж раз пять сиделся за писанье, а ни черта у меня не выходит. Хочу писать по-умному, а выходит просто, словно тетике в Кременчуг пишешь...

— Ничего, что просто... Инспектор не взыщет... За мои материние молитвы и терпение господь смягчит его сердце: не рассердится, ежели что... Небось и сам-то он в твои годы не бог весть как учен был!

— Пожалуй, еще попробую, только знаю, что опять ничего не выйдет... Хорошо, попробую...

Миша сел за стол, положил перед собой лист бумаги и задумался. После долгого таращенья глаз на потолок, он взял перо и, раскачив кисть руки, как это делают все почитатели собственного почерка, начал: «Ваше Высокоблагородие! Родился я в 1867 году в городе К. от отца Кирилла Ивановича Набалдинникова и матери Натальи Ивановны. Отец мой служил на сахарном заводе купца Подгойского в конторщиках и получал 600 рублей в год. Потом он уволился и долго жил без места. Потом...»

Дальше отец спился и умер от пьянства, но это уж была семейная тайна, которую Миша не хотелось сообщать его высокоблагородию. Миша подумал немного, зачеркнул все написанное и, после некоторого размышления, написал снова то же самое...

«Потом он скончался, — продолжал он, — в бедности, оплакиваемый женой и горячо любящим сыном, который у него был только я один, Михаил. Когда мне исполнилось 9 лет, меня отдали

в притотовительный класс, за меня платил Подгойский, но когда отец уволился от него и он перестал за меня платить, я вышел из IV класса. Учился я посредственно, в I и III классе сидел по 2 года, но по чистописанию и поведению получал всегда пять». И т. д.

Исписал Миша целый лист. Писал он искренно, но бесполново, без всякого плана и хронологического порядка, повторяясь и путаясь. Вышло что-то размазанное, длинное и детски-написанное... Кончил Миша так: «Теперь же я живу на средства моей матери, которая не имеет никаких средств к жизни, а потому всепокорнейше прошу Ваше Высокоблагородие, дайте мне место, чтобы я мог жить и корчить свою болезненную мать, которая тоже просит Вас. И извините за беспокойство» (Подпись).

На другой день, после долгих ломаний и застенчивой переписке, это жизнеописание было переписано начисто и вместе с документами отправлено по назначению, а через две недели Миша, истомившийся от ожиданий, дрожа всем телом, стоял в передней податного инспектора и ждал гонорара за свое сочинение.

— Позвольте узнать, где здесь канцелярия? — спросил он, заглядывая из передней в большую, скучно меблированную комнату, где на диване лежал какой-то рыжий человек в туфлях и в летней кримплатке вместо халата.

— А что вам нужно? — спросил рыжий человек.

— Тут я... две недели тому назад прошение подал... о месте писца... Могу я видеть г. инспектора?

— Это просто возмутительно... — пробормотал рыжий, придав своему лицу страдальческое выражение и запахиваясь в кримплатку. — Сто человек на день! Так и ходят, так и ходят! Да неужели, господа, у вас другого дела нет, как только мне мешать?

Рыжий вскочил, расставил ноги и сказал, отчеканивая каждое слово:

— Тысячу раз говорил уж я всем, что у меня писец есть! Есть, есть и есть! Пора уже перестать ходить! Уж есть у меня писец! Так всем и передайте!

— Виноват-с... — забормотал Миша. — Я не знал-с...

И человек поклонившись, Миша вышел... Гонорар — увы и ах!

1886

ИВАН МАТВЕИЧ.

Шестой час вечера. Одни из достаточно известных русских ученых — будем называть его просто ученым — сидят у себя в кабинете и первко кусают ногти.

— Это просто возмутительно! — говорит он, то и дело посматривая на часы. — Это верх ненужения и чужому времени и труду. В Англии такой субъект не заработал бы ни гроша, умер бы с голода! Ну, погоди же, придишь ты...

И, чувствуя потребность излить на чем-нибудь свой гнев и нетерпение, ученый подходит к двери, ведущей в женскую комнату, и стучится.

— Погоди, Катя, — говорит он изголодавшим голосом. — Если увидаишь Петра Данилыча, то передай ему, что порядочные люди так не делают! Это мерзость! Рекомендует переписчика и не знает, кого он рекомендует! Мальчишка аккуратнейшим образом опаздывает каждый день на два, на три часа. Ну, разве это переписчик? Для меня эти два-три часа дороже, чем для другого два-три года! Придет он, я его изругаю, как собаку, денег ему не заплачу и вышвыриу вон! С такими людьми нельзя перемицаться!

— Ты каждый день это говоришь, а между тем он все ходит и ходит.

— А сегодня я решил. Достаточно уж я из-за него потерял. Ты извини, но я с ним ругаться буду, извоячивши ругаться!

Но вот, наконец, слышится звонок. Ученый делает серьезное лицо, выпрямляется и, закинув назад голову, идет в переднюю. Там, около вешалки, уже стоит его переписчик Иван Матвеич, молодой человек лет восемнадцати, с овальным, как лицо, безусым лицом, в попошении, облеалом пальто и без кашю. Он захысался и старательно вытирает свои большие, исключившие сапоги о подстилку, причем старается скрыть от горничной дыру на сапоге, из которой выглядывает белый чулок. Увидев ученого, он улыбается той продолжительной, широкой, неминужно глуповатой улыбкой, какая бывает на лицах только у детей и очень простодушных людей.

— А, здравствуйте, — говорит он, протягивая большую, мокрую руку. — Что, прошло у вас горло?

— Иван Матвеич, — говорит ученый дрогнувшим голосом, отступая назад и складывая вместе пальцы обеих рук. — Иван Матвеич!

Затем он подскакивает к переписчику, хватает его за плечо и начинает слабо трясти.

— Что вы со мной делаете! — говорит он с отчаянием. — Ужасный, гадкий вы человек, что вы делаете со мной! Вы надо мной смеетесь, издеваетесь? Да?

Иван Матвеич, судя по улыбке, которая еще не совсем сползла с его лица, ожидал совсем другого приема, а потому, увидев выражение нетерпением лица ученого, он еще больше вытягивает в длину свою овальную физиономию и в изумлении открывает рот.

— Что... что такое? — спрашивает он.

— И вы еще спрашиваете! — всхлескивает руками ученый. — Знаете, как дорого для меня время, и так опаздываете! Вы опоздали на два часа!.. Бога вы не боитесь!

— Я ведь сейчас не из дома, — бормочет Иван Матвеич, нерешительно развязывая шарф. — Я у тетки на именинах был,

и тетка верст за шесть отсюда живет.. Если бы я прямо из домашел, то тогда другое дело.

— Ну, сообразите, Иван Матвеич, есть ли логика в ваших поступках? Тут дело нужно делать, дело срочное, а вы по именикам, да по теткам плянетесь. Ах, да развязывайте поскорее ваш ужасный шарф! Это, наконец, невыносимо!

Ученый опять подскакивает к переписчику и помогает ему распутать шарф.

— Какая вы баба... Ну, изите!.. Скорей, пожалуйста!

Сморкавшись в грязный, скомканый платочек и поправив свой серенький пиджак, Иван Матвеич идет через залу и гостиную в кабинет. Тут для него давно уже готово и место, и бумага, и даже папирсы.

— Садитесь, садитесь, — подгоняет ученый, нетерпеливо потирая руки. — Несносный вы человек... Знаете, что работа срочная, и так опаздываете. Поневоле браниться станешь. Ну, пишите... На чем мы остановились?

Иван Матвеич приглаживает свои щетинистые, неровно остриженные волосы и берется за перо. Ученый прохаживается из угла в угол, сосредоточивается и начинает диктовать:

— Суть в том... запятая... что некоторые, так сказать, основные формы... напишеали? — формы единственно обусловлены самой сущностью тех начал... запятая... некоторые находят в них свое выражение и могут воплотиться только в них... С новой строкой... Там, конечно, точка... Наиболее самостоятельности представляют... представляют... те формы, которые имеют не столь политический... запятая, сколько социальный характер...

— Теперь у гимназистов другая форма... серая... — говорит Иван Матвеич. — Когда я учился, при мне лучше было: мундиры носили...

— Ах, да пишите, пожалуйста! — сердится ученый. — Характер... написали? Говори же о преобразованиях, относящихся к устройству... государственных функций, а не регулированию народного быта... запятая... нельзя сказать, что они отличаются национальностью своих форм... последние три слова в кавычках... Э—э... тово... Так что вы хотели сказать про гимназию?

— Что при мне другую форму носили.

— Ага... так... А вы давно оставили гимназию?

— Да я же вам говорил вчера! Я уж года три как не утусь... Я из четвертого класса вышел...

— А зачем вы гимназию бросили? — спрашивает ученый, заглядывая в писанье Ивана Матвеича.

— Так, по домашним обстоятельствам.

— Опять вам говорить, Иван Матвеич! Когда, наконец, выбросите вашу привычку растягивать строки? В строке не должно быть меньше сорока букв!

— Что ж, вы думаете, я это нарочно? — обижается Иван Матвеич. — Зато в других строках больше сорока букв... Вы соч-

тице. А скажи вам кажется, что я натягиваю, то вы можете мне плату убавить.

— Ах, да не в том дело! Какой вы неделикатный, право... Чуть что, сейчас вы о деньгах. Главное — аккуратность, Иван Матвеич, аккуратность главное! Вы должны приучать себя к аккуратности.

Горшечная вносит в кабинет на подносе два стакана чаю и корзинку с сухарями... Иван Матвеич неловко, обеими руками, берет свой стакан и тотчас же начинает пить. Чай слишком горяч. Чтобы не сжечь губ, Иван Матвеич старается делать маленькие глотки. Он съедает один сухарь, потом другой, третий и, конфузливо покосившись на ученого, робко тянет за четвертым... Его громкие глотки, аппетитное чашашье и выражение голодной жажды в приподнятых бровях раздражают ученого.

— Кончайте скорей... Время дорого.

— Вы диктуйте. Я могу в одно время и пить, и писать... Я, признаюсь, проголодался.

— Еще бы, пешком ходите!

— Да... А какая нехорошая погода! В наших краях в это время уж весной пахнет... Везде лужи, снег тает.

— Вы ведь, кажется, южанин?

— Из Донской области... А в марте у нас совсем уж весна. Тут мороз, все в шубах ходят, а там трава... везде сухо и тарантулов даже ловить можно.

— А зачем ловить тарантулов?

— Так... от ничего делать... — говорит Иван Матвеич и вздыхает. — Их ловить забавно. Нацепишь на пальку кусочек смолы, опустишь смолку в корни и начнешь смолкой бить тарантула по спине, а он, проклятый, рассердится, схватит лапками за смолу, и увишишь... А что мы с ними делали! Накидаем их, было, полный тазик и пустим к нам бихорку.

— Какого бихорку?

— Это такой паук есть, в роде тоже как бы тарантула. В драке он один может сто тарантулов убить.

— М-да... Однако, будем писать... На чем мы остановились?

Ученый диктует еще строк двадцать, потом садится и погружается в размышление.

Иван Матвеич в ожидании, пока тот надумает, сидит и, вытягивая шею, старается привести в порядок воротничок своей сорочки. Галстук сидит не плотно, запонки выскоцили и воротник то и дело расходится.

— М-да... — говорит ученый. — Так-с... Что, не нашли еще себе места, Иван Матвеич?

— Нет. Да где его найдешь? Я, знаете ли, надумал вольно-определенную идти. А отец советует в аптеку поступить.

— М-да... А лучше, если бы в университет поступили. Экзамен трудный, но при терпении и усидчивом труде можно выдержать. Занимайтесь, читайте побольше... Вы много читаете?

— Приняться, мало... — говорит Иван Матвеич, закуривая.

— Тургенева читали?

— Н-нет...

— А Гоголя?

— Гоголя? Гм... Гоголя... Нет, не читал!

— Иван Матвеич! И вам не совестно? Ай-ай! Такой хороший вы малый, так много в вас оригинального, и вдруг... Даже Гоголя не читали! Извольте прочесть! Я вам дам! Обязательно прочтите! Иначе мы рассоримся!

Опять наступает молчание. Ученый полулежит на мягкой кушетке и думает, а Иван Матвеич, оставив в покое воротнички, все свое внимание обращает на сапоги. Он и не заметил, как под ногами от растаявшего снега образовалась две большие лужи. Ему совестно.

— Что-то не слится сегодня... — бормочет ученый. — Иван Матвеич, вы, кажется, и птиц любите ловить?

— Это осенью... Здесь я не ловлю, а там, дома, всегда ловил.

— Так-с... хорошо-о. А писать все-таки нужно.

Ученый решительно встает и начинает диктовать, но через десять строк опять садится на кушетку.

— Нет уж, вероятно, отложим до завтрашнего утра, — говорит он. — Приходите завтра утром, только пораньше, часам к девяти. Храните бога оправдать.

Иван Матвеич кладет перо, встает из-за стола и садится на другой стул. Проходит минут пять в молчании, и он начинает чувствовать, что ему пора уходить, что он лишний, но в кабинете ученого так тепло, светло и тепло, и еще настолько свежо впечатление от сладких сухарей и сладкого чая, что у него сжимается сердце от одной мысли о доме. — Дома — бедность, голод, холод, ворчун-отец, попреки, а тут так безмятежно, тихо и даже интересно его тарантулами и птицами.

Ученый смотрит на часы и берется за книгу.

— Так вы дадите мне Гоголя? — спрашивает Иван Матвеич, задумавшись.

— Дам, дам. Только куда же вы спешите, голубчик? Посидите, расскажите что-нибудь...

Иван Матвеич садится и широко улыбается. Почти каждый вечер сидит он в этом кабинете и всякий раз чувствует в голосе и во взгляде ученого что-то необыкновенно мягкое, притягательное, словно родное. Бывают даже минуты, когда ему кажется, что ученый привязался к нему, привык, и если бранит его за опоздание, то только потому, что скучает по его болтовне о тарантулах и о том, как на Дону ловят щеглов.

ОТРАВА.

На взмите весь род людской... и т. д.
Из сатиры Мифиатобеля.

Петр Петрович Лысов идеалист до конца ногтей, хотя и слушает в банкирской конторе Кунст и К°. Он поет индийским танцем, играет на гитаре, помадится и носит светлые брюки, а все это составляет признаки, по которым идеалиста можно отличить от материалиста за десять верст. На Любочке, дочери отставного капитана Кадыкина, он женился по самой страшной любви... Верите ли, он так любил свою невесту, что если бы ему предложили выбирать между миллионом и Любочкой, то он, не думая, остановился бы на последней... Чорт, конечно, такая идеальность не понравилась, и он не преминул вмешаться.

Накануне свадьбы (чорт зачертит именно с этого времени) капитан Кадыкин позвал к себе в кабинет Лысова и, взял его любовно за пуговицу, сказал:

— Надо тебе заметить, любебный друг Петя, что я некоторыми образом того... Уговор лучше денег... Чтобы потом, собственно говоря, не было никаких неудовольствий, надо нам заранее уговориться... Ты знаешь, я ведь за Любочкой не тово... ничего я за Любочкой не даю!

— Ах, не все ли это равно? — всхлипнул идеалист. — И за него вы меня принимаете? Я женюсь не на деньгах, а на девице!

— То-то... Я ведь это для чего тебе говорю? Для того, чтобы ты по-таки знала... Человек я, конечно, не бедный, имею состояние, но ведь, сам видишь, у меня кроме Любочки еще пятеро... Так-то, друг милый Петя... Охочиххх... (капитан вздохнул). Оно, конечно, и тебе трудно будет, ну, да что делать! Крепись как-нибудь... В случае, ежели что-нибудь этакое... детородность, там, или другое такое событие, то могу помочь... Понемножку могу... Даите сейчас могу...

— Выдумали, ей-богу! — махнул рукой Лысов.

— Сейчас я могу тебе четыреста рублей одолжить... Больше, извини, хотел бы дать, но хоть рожь!

Кадыкин полез в стол, достал оттуда какую-то бумагу и показал ее Лысову.

— Нà, бери! — сказал он. — Розно четыреста! Я бы и сам получил по этому исполнительному листу, да чинец, возиться никогда, а ты когда захочешь, тогда и получиши... Прямо без всякого стеснения ступай к доктору Клябову и получай... А ежели он зафорыбачится, то к судебному приставу...

Как ни отнекивался Лысов и как ни доказывал, что женится не на деньгах, а на девице, но кончил тем, что сложил вчетверо исполнительный лист и спрятал его в карман. На другой день, возвращаясь в карете с венчанья, Лысов держал Любочку за талию и говорил ей:

— Третьего дня ты плакала, что у нас в семейном очаге фортепиано не будет... Радуйся, Любубунчик! Я тебе за четыреста рублей куплю пианино...

После свадебного ужина, когда молодые остались одни, Лысов долго ходил из угла в угол, потом вдохновенно мотнул головой и сказал ей:

— Знаешь, что, Любя? Не лучше ли нам подождать покупать пианино? А, как ты думаешь? Давай-ка мы сначала мебели купим! За четыреста рублей отличную меблировку можно завести! Так разукрасим комнаты, что чергим тошно будет! В ту комнату мы поставим диван и кресла с шелковой, знаешь, обивкой... Поряд дивана, конечно, круглый стол с какой-нибудь этакой, чорт же поборь, занавыристой лампой... Здесь вот мы поставим мраморный рукомойник. Ву компрене! Ха-ха... В этот промежуток мы установим гардероб, или комод с туалетом... То-есть, чорт знает, как хорошо все это выйдет!

— Нужно будет и занавески к окнам.

— Да, занавески! Завтра же пойду к этому доктору! Только бы мне зас ать его, чорта... Эти доктора народ жадный, имеют привычку зуть свет на практику выезжать... Уж ты извини, Любя, я завтра пораньше встану...

В восемь часов утра Лысов тихонько встал, оделся и отправился пешком к доктору Клябову. Без четверти в девять он уже стоял в докторской, пурпурной.

— Доктор дома? — спросил он горничную.

— Дома-е, но они спят и нескоро встанут-с.

От такого ответа лицо Лысова поморщилось и стало таким смешным, что горничная испугалась и сказала:

— Если он вам так нужен, то я могу его разбудить! Пожалуйте в кабинет!

Лысов снял шубу и вошел в кабинет.

« А хорошо живет каналья! — подумал он, садясь в кресло и оглядывая обстановку. — Одна софа, небось, рублей четыреста стоит... »

Минут через десять послышался отдаленный кашель, потом шаги, и в кабинет вошел доктор Клябов, неумытый, вспотевший.

— Что у вас? — спросил он, садясь против Лысова.

— Я, г. доктор, собственно говоря, не болен. — начал идеалист, широко улыбаясь, — а пришел к вам по делу... Видите ли, я вчера женился и... мне очень нужны деньги... Вы меня премного близите, если сегодня заплатите по этому исполнительному листу...

— По какому исполнительному листу? — вытаращил глаза чорт.

— А вот по этому... Я Лысов и женился на дочери Кадыкина. Я ему зять и он, то-есть тестя, передал мне этот лист. То-есть, Кадыкин!

— Бог знает что! — махнул рукой Клябов, поднимаясь делая плачущее лицо. — Я думал, что вы больны, а вы с ерундой

каной-то... Это даже бессовестно с вашей стороны! Я сегодня в седьмом часу лег, а вы чорт знаете из-за чего будите! Порядочные люди уважают чужой покой... Мне даже совестно за вас!

— Виноват, я думал-с... — сконфузился Лысов, — я не знал-с....

И, видя, что доктор уходит, он поднялся и пробормотал:

— А когда же прикажете за получением приходить?

— Никогда... Я этому Кадыкину уж тысячу раз говорил, чтобы он оставил меня в покое! Надо ли!

Тон и обращение доктора сконфузили Лысова, но и озлили.

— В таком случае, — сказал он, — извините, я должен буду обратиться к судебному приставу и... наложить запрещение на ваше имущество!..

— Снолько угодно! Этот ваш Затыкин, или — как его? — Кадыкин знает, что имущество не мое, а женило.

Выйдя от доктора, Лысов был красен и дрожал от злости.

«Невежа! — думал он. — Скотина! Живет так богато, имеет практику и долгов не платит! Ну, постой же...»

Вечером, вместо того, чтобы ложиться спать, Лысов сел писать к доктору письмо... В этом письме он категорически и, угрожая судебным приставом, просил уведомить его, в какой день и час доктора можно застать дома. Не получив на другой день ответа, он послал еще одно письмо... Наконец, истратив по пути шесть городских марок, он возмущился и пошел к судебному приставу...

Пока он таким образом писал письма и делал визиты судебному приставу, время шло, и натура человеческая работала... Лысову скоро стало казаться, что четыреста рублей ему необходимы крайне, по зарез, что удивительно, как это он мог ранее без них обходиться. Не говоря уж о меблировке, которую можно отложить на будущее, этими деньгами нужно уплатить прежние долгишки, портному, в лавочку... Когда дней через десять после свадьбы Любочка попросила у Лысова пять рублей для кухарки, то тот сказал:

— Это уж я из докторских ей дам, а сейчас у меня нет... Знаешь что? Схожу-на я сегодня к доктору! Попрошу его, чтоб он хоть по частям выплачивал. На это он наверное согласится!..

Придя к доктору, он застал у него в приемной много больных. Пришлось ожидать очереди. Прочитав все газеты, лежавшие на столе, и истомившись до сухоты в горле и пытая под ложечкой, он, наконец, вошел в кабинет доктора.

— Вы опять! — поморщился Клыбов.

Лысов сел и чистосердечно объяснил доктору, как Кадыкин подарил ему исполнительный лист и как нужны ему деньги.

— Вы можете мне по десяти рублей выплачивать... — кончил он. — Я и на это согласен!

— Вы, извините, просто психонат... — ухмыльнулся Клыбов. — Кто же, скажите, пожалуйста, принимает в подарок исполнительные листы?

— Я принял, потому что думал, что вы будете тово... добро-совестны!

— Вот как! Не вам с говорить о добросовестности! Вы знаете, откуда взялся этот долг? Когда я был студентом, то взял у вашего тестя только пятьдесят рублей, остальные же все проценты! И я не заплачу... По принципу не заплачу! Ни копейки!

Возвратился Лысов домой от доктора утомленный, злой.

— Не понимаю я твоего отца! — сказал он Любочке. — Ведь это иллю, подло! Точно у него не нашлось для меня четыреста рублей! Мне приданого не нужно, но я из принципа! Я теперь с твоим отцом и говорить не хочу... Скрипка, грошовник! На вдо-вот поди и скажи ему, чтобы он взял свой глупый исполнительный лист и вместо него пришел мне четыреста рублей... Слышишь? Поди, так и скажи...

— Как же я ему скажу? Мне подозрочно. Петя.

— Аа... для тебя он, виноват, дороже муки! По-тиоему, он прав! Я не взял с него ничего приданого, и он же еще прав!

Любочка заморгала глазами и заплачала.

— Начинается... — пробормотал Лысов. — Этого еще не доставало! Ну, пожалуйста, матушка, без этих штук! У меня чтоб этого не было! Меня, брат, этим не убедишь... не проймешь! Я этого не люблю! Можешь у папеньки реветь, а здесь тебе не место! Слышишь?

И Лысов постучал по столу корешком книги... Этим стуком и завершился медовый месяц...

1895.

ВЕДЬМА.

Время шло и ночи. Дычок Савелий Гыкин лежал у себя в церковной сторожке на громадной постели и не спал, хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами. Из одного ирал засаленного, синтого из разноцветных ситцевых лоскутьев одеяла глядела его рыжие, жесткие волосы, из-под другого торчали большие, давно не мытые ноги. Он слушал... Его сторожка врезывалась в ограду, и единственное окно ее выходило в поле. А в поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей погибели заварилась в природе каша, но судя по неумолкаемому, зловещему гулу, кому-то приходилось очень ирутко. Какая-то победительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше, злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, а что-то побежденное было и плачало... Жалобный плач слышался то за окном, то над крышой, то в печке. В нем звучал не призыв из помощи, а тоска, сознание, что уже поздно, нет спасения. Синие сугробы подериулись тонкой льдиной корой; на них и на деревьях дрожали слезы, по дорогам и тропинкам разливалась темная жизнница из грязи и тающего снега. Одним словом, на земле была отдель, но небо,

сквозь темную ночь, не видя этого и что есть силы вышло на таявшую землю хлопья нового снега. А ветер гулял, как пьяный... Он не давал этому снегу ложиться на землю и крутил его в потемках, как хотел.

Гыкин прислушивался к этой музыке и хмурился. Дело в том, что он был, или, по крайней мере, догадывался, к чему клонилась эта возня за окном и чьих рук было это дело.

— Я ана-аю! — бормотал он, грозя кому-то под одеялом пальцем. — Я все знаю!

У окна, на табурете сидела дьячиха Раиса Ниловна. Жесткая лампочка, стоявшая из другом табурете, словно робя и не веря в свои силы, лила жиденький, мелькающий свет из ее широкие плечи, красивые, аппетитные рефлексы тела, из толстую косу, которая касалась земли. Дьячиха шила из грубого ридна мешки. Руки ее быстро двигались, все же тело, выражение глаз, брови, нирные губы, белая шея замерли, погруженные в однообразную, механическую работу, и, казалось, спали. Иаредка только она поднимала голову, чтобы дать отдохнуть своей утомившейся шее, взглядала мельком из окна, за которым бушевала метель, и опять сгибалась над ридном. Ни желания, ни грусти, ни радости — ничего не выражало ее красивое лицо с задернутым носом и ямками из щеках. Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не блеет.

Но вот она кончила один мешок, бросила его в сторону и, спадко потянувшись, остановила свой тусклый, неподвижный взгляд на окне... На стеклах плавали слезы и белели недолговечные снежинки. Слезинка упадет на стекло, взглянет на дьячиху и растворится...

— Поди ложись! — проворчал дьячок.

Дьячиха молчала. Но вдруг ресницы ее шевельнулись и в глазах блеснуло внимание. Савелий, все время наблюдавший из-под одеяла выражение ее лица, высунул голову и спросил:

— Что?

— Ничего... Кажись, кто-то едет... — тихо ответила дьячиха.

Дьячокбросил с себя руками и ногами одеяло, стал в постели на колени и тупо поглядел на жену. Робкий свет лампочки освещил его волосатое, рабое лицо и скользнул по всклоченной, жесткой голове.

— Слышишь? — спросила жена.

Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва уловимый слухом, тонкий, звенящий стон, похожий на зуденье комара, когда он хочет сесть на щеку и сердится, что ему мешают.

— Это почта... — проворчал Савелий, садясь на пятки.

В трех верстах от церкви лежал почтовый тракт. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитатели сторожки слышались звонки.

— Господи, приходит же охота ездить в такую погоду! — вздохнула дьячиха.

— Дело назенное. Хочешь — не хочешь, позови...

Стон потерпался в воздухе и замер.

— Проехала! — сказал Савелий, ложась.

Но не успел он укрыться одеялом, как до его слуха донесся дистантный звук колокольчика. Дылчик тревожно взглянул на жену, спрыгнул с постели и, переваливаясь с боку на бок, заходил вздоль пеэки. Колокольчик прозвучал немного и опять замер, словно оборвался.

— Не слыхать... — пробормотал дылчик, останавливаясь и щуря на жену глаза.

Но в это время ветер стукнул по окну и донес тонкий, звенящий стон... Савелий побледнев, крякнул и опять зашлепал по полу босыми ногами.

— Почту кружат! — прохрипел он, злобно косясь на жену. — Слышишь ты? Почту кружит!.. Я... я знаю! Нелго я не... не понимаю? — забормотал он. — Я все знаю, чтоб ты пропала!

— Что ты знаешь? — тихо спросил дьячиха, не отрывая глаз от огня.

— А то знаю, что все это твои дела, чертиха! Твои дела, чтоб ты пропала! И метель это, и почту кружит... все это ты на-зывала! Ты!

— Бессиши, глупый... — покойно заметила дьячиха.

— Я за тобой давно уж это замечаю! Как поженился, в первый же день приметил, что в тебе сучья кровь!

— Тыфу! — удивилась Раиса, пожимая плечами и крестясь. — Да ты пер крестись, дурен!

— Ведьма и есть ведьма, — продолжал Савелий глухим, плачущим голосом, торопливо сморкаясь в подол рубахи. — Хоть ты и ишши мне, хоть и духовного звания, но я о тебе и на духу так скажу, какая ты есть... Да как же? Заступи, господи, и помилуй! В прошлом году под пророна Даниила и трех отроков была метель и — что же? мастер греться заехал. Потом из Алексея, боярского человека, реку валомало, и урядника принесло... Всю почту тут с тобой, проклятый, калинал, а как на утро вышли, да как взглянул я на него, так у него под глазами крутчи и все щеки втынуло! А? В Спасовку два раза гроза была, и в оба разы охотник изочиста приходил. Я все видел, чтоб ему пропасть! Всё! О, красней рака стала! Ага!

— Ничего ты не видел...

— Ну, да! А этой зимой перед Рождеством на десять мучеников в Крыте, когда метель день и ночь стояла... помнишь? — писарь предводителя сбился с дороги и сюда, собака попал... И на что помнишь? Тыфу, на писари! Стояло из-за него божью погоду кутить! Чертана, сморкну, из земли не видно, вся морда в угриях и шея кривая... Добро бы, красивый был, а то — тыфу! — сатана!

Дылчик перезев дух, утер губы и прислушался. Колокольчика не было слышно, но резнул над прышес ветер, и в потемках за окном опять зазвенело.

— И теперь тоже! — продолжал Савелий. — Недаром это почту кружит! Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет! О, бес знает свое дело, хороший помощник! Покружит, покружит и сюда доведет. Зна-ак! Ви-нику! Не скроишь, бесова балабонка, похоть идолъской! Как метель началась, я сразу понял твои мысли.

— Вот дуреш! — усмехнулась дьячиха. — Что ж, по твоему, по дурацкому уму, я нечастье делаю?

— Гм... Усмехайся! Ты, или не ты, а только и замечаю: как в тебе кровь начинает играть, так и непогода, а как только испогода, так и несет сюда некого ни на есть безумца. Каждый раз так приходится! Стало-быть, ты!

Дьячок для большей убедительности приложил палец ко лбу, закрыл левый глаз и проговорил певучим голосом:

— О, безумие! О, иудино окаянство! Коли ты в самом деле человек есть, а не ведьма, то подумала бы в голове своей: а что, если то были не мастер, не охотник, не писарь, а бес в их обраме? А? Ты бы подумала!

— Да и глупый же ты, Савелий! — вздохнула дьячиха, с искрой гляди на мужа. — Когда пленница ивицы были и тут жили, то много разного народа ходило к ним от трясучки лечиться: и из деревни, и из выселков, и из арминских хуторов. Почтый, каждый день ходили, и никто их бесами не обывал. А к нам ежели кто раз в год в неизвестье заедет погреться, так уж тебе, глупому, и диво, сейчас у тебя и мысли разные.

Логика жены тронула Савелия. Он расставил босые ноги, нагнул голову и задумался. Он не был еще крепко убежден в своих догадках, а искренний, равнодушный тон дьячихи совсем сбил его с толку, но тем не менее, подумав немного, он мотнул головой и сказал:

— Не то, чтобы старники, или косодальные какие, а все молодые почтезать прослышали... Поэтому такое? И пущай бы только грелись, а то ведь черта тешат. Нет, баба, хитрёй нашего бабьего рода на этом свете и твари нет! Настоящего ума в вас — ни боже мой, меньше, чем у скворца, зато хитрости бесовской — у-у-у! — спаси, царица небесная! Вон, изволит почта! Метель еще только начинилась, а уж я все твои мысли знал! Извини-мачила, научих!

— Да что ты пристал ко мне, окажинный? — выпала из терпения дьячиха. — Что ты пристал ко мне, смоля?

— А то пристал, что ежели пышишь почью, не дай бог, слушаешь что... ты слушай!.. ежели случится что, то завтра же чуь свет пойду в Дьяконово и отцу Никодиму и все объясню. Так и так, скажу, отец Никодим, позните великолушно, но она ведьма. Почему? Гм... желаешь знать почему? Извольте... Так и так. И горе тебе, баба! Не только из страшном судлище, но и в земной жизни никакими будешь! Недаром насчет нашего брата в требнике молитвы написаны!

Вдруг в окне раздался стук, такой громкий и необычайный, что Савелий побледнел и присел от испуга. Дьячиха вскочила и тоже побледнела.

— Ради бога, пустите погреться! — послышался дрожащий, гулкий бас. — Кто тут есть? Сделайте милость! С дороги сбились!

— А кто вы? — спросила дьячиха, болея взглянуть на окно.

— Почта! — ответил другой голос.

— Недаром дьяволина! — машинально рукою Савелий. — Так я и знал! Моя правда... Ну, гляди же ты мне!

Дьячок подпрыгнул два раза перед постелью, повалился на перину и, сердито сопя, повернулся лицом к стене. Скоро в его спальне пахнуло холодом. Дверь скрипнула, и на пороге показалась вдовиной человеческой фигура, с головы до ног облещенная снегом. За нею мельнула другая, такая же белая...

— И туки вносить? — спросила вторая хриплым басом.

— Не там же их оставлять!

Сказавши это, первый начал разрывывать себе башлык и, не поминдавшись, когда он развязывается, сорвал его с головы вместе с фуражкой и со злобой швырнул к печи. Затем, ставши с себя пальто, он бросил его туда же и, не здоровясь, зашагал по сторонам.

Это был молодой, белокурый почтальон в истасканном, форменном сюртучишке и в рыжих грязных сапогах. Согреавши себя ходьбой, он сел за стол, протянул грязные ноги к мешкам и подпер кулаком голову. Его бледное, с грязными пятнами лицо носило еще следы только-что перенесенных боли и страха. Искривленное злобой, со свежими следами недавних физических и нравственных страданий, с тающим снегом на бровях, усах и круглой бородке, оно было красиво.

— Собачья жизнь! — проворчал почтальон, водя глазами по стенам и словно не веря, что он в тепле. — Чуть не пропали! Коли б не ваши огни, так не знаю, что бы и было... И чума его знает, когда все это кончится! Конца краю нет этой собачьей жизни! Куда мы заехали? — спросил он, понизив голос и вскидывая глазами на дьячиху.

— На Гулевский бугор, в имени генерала Калиновского, — ответила дьячиха, встремившись к ирлану.

— Слыши, Степан? — повернулся почтальон к имщику, застрявшему в дверях с большим команым тюком на спине. — Мы на Гулевский бугор попали!

— Да... далече!

Прошлое это слово в форме хриплого, прерывистого вздоха, ящика вышел и, немного погоди, внес другой тюк поменьше, затем еще раз вышел и на этот раз внес почтальонную саблю из широком ремне, похожую фасоном на тот длинный плоский меч, с которым рисуется на лубочных картинках Юлиф у лона Олоферна. Слонина тюки вдоль стены, он вышел в сени, сел там и закурил трубку.

мане, белую шею и неподвижный, масляный взгляд дьячихи, закрыл глаза и ульбнулся, точно ему все это снилось.

— Ну, куда в такую погоду ехать! — услышал он мягкий женский голос. — Спали бы себе, да спали на доброе здоровье!

— А почта? — встревожился Савелий. — Кто же почту-то повезет? Нешто ты повезешь? Ты?

Почтальон снова открыл глаза, взглянул на двигающиеся ямки на лице дьячихи, вспомнил, где он, поним Савелия. Мысль, что ему предстоит ехать в холодных потемках, побежала из головы по всему телу холода муршками, и он поежился.

— Пять минут еще бы можно поспать... — зевнул он. — Все равно опоздали...

— А может, как раз во-время приедем! — послышался голос из сени. — Гляди, неровен час и сам поезд на наше счастье опоздает.

Почтальон поднялся и, сладко потягиваясь, стал надевать пальто.

Савелий, видя, что гости собираются уезжать, даже заржал от удовольствия.

— Помоги, что ль! — крикнул ему имщик, поднимая с пола тюк.

Дьячок подсочкил к нему и вместе с ним потащил на двор почтовую клажу. Почтальон стал распутывать узел на башлыке. А дьячиха заглядывала ему в глаза и словно собиралась залезть ему в душу.

— Чайо бы попили... — сказала она.

— Я бы ничего... да вот они собрались! — соглашалась она. — Все равно опоздали.

— А вы останьтесь! — шепнула она, опустив глаза и трогая его за рукав.

Почтальон развязал, наконец, узел и вперешимости перекинул башлык через локоть. Ему было тепло стоять около дьячихи.

— Какая у тебя... шея...

И он носился двумя пальцами ее шеи. Видя, что ему не сопротивляются, он погладил рукой шею, плечо...

— Фу, какая...

— Остались бы... чаю попили бы.

— Куда кладень? Ты, кутыя с патокой! — послышался со двора голос имщика. — Позерек клади.

— Остались бы... Ишь, как веет погода!

И не совсем еще проснувшимся, не успевшим стражнуть с себя обаяние молодого томительного сна почтальоном вдруг овладело желание, ради которого забываются тюки, почтовые поезда... все на свете. Испуганно, словно желая бежать, или спрятаться, он взглянул на дверь, схватил за талию дьячиху и уж нагнулся над лампочкой, чтобы потушить огонь, как в сенах застучали сабоги, и на пороге показался имщик... Из-за его плеча выглядывал Савелий. Почтальон быстро опустил руки и остановился словно в раздумье.

— Все готово! — сказал имщик.

Почтальон постоял немного, резко мотнул головой, как окончательно проснувшийся, и пошел за имщиком. Дьячиха осталась одна.

— Что же, садись, показывай дорогу! — услышала она.

Джинго завучал один колокольчик, затем другой, и авеня-шии звуки малкой, длиной цепочкой понеслись от сторожки.

Когда она мало-по-малу затихли, дьячиха рванулась с места и ворвалась из угла в угол. Сначала она была бледна, потом же вся раскраснелась. Лицо ее искалилось ненавистью, дыхание задрожало, глаза засияли дикой, спиреопой алобой, и, шагая как в плетке, она походила на тигрицу, которую пугают раскаленным железом. На минуту остановилась она и взглянула на свое жилье. Чуть ли не полкомнаты занимала постель, тянущаяся вдоль всей стены и состоявшая из грязной перины, серых жестких подушек, оделла и радиого безымянного тряпья. Эта постель представляла собой бесформенный, некрасивый ком, почти такой же, какой торчал на голове Савелия всегда, когда тому приходила охота маслить свои волосы. От постели до двери, выходившей в холодные сени, тянулась темная печка с горшками и висящими тряпками. Все, из исключая и только-что вышедшего Савелия, было «о пелья грязно, засалено, закопчено», так что было странно видеть среди такой обстановки белую шею и тоиную, некрасивую кожу женщины. Дьячиха подбежала к постели, протянула руки, как бы желая раскинуть, растоптать и изорвать в пыль все это, но потом, словно испугавшись прикосновения к грязи, она отвела назад и опять зашагала...

Когда часа через два вернулся облепленный снегом и замученный Савелий, она уже лежала раздетая в постели. Глаза у нее были закрыты, но по мелким судорогам, которые бегали по ее лицу, он догадался, что она не спит. Возвращаясь домой, он дал себе слово до завтра молчать и не трогать ее, но тут не вытерпел, чтобы не уязвить.

— Даром только ворожила: уехал! — сказал он, злорадно ухмыльнувшись.

Дьячиха мотчала, только подбородок ее дрогнул. Савелий медленно разделяя, перелез через жену и ляг к стенке.

— А вот завтра я объясню отцу Никодиму, какая ты жена! — пробормотал он, съеживаясь на кадачином.

Дьячиха быстро повернулась к нему лицом и сверкнула на него глазами.

— Будет с тебя и места, — сказала она, — а жену поищи себе в лесу! Какая я тебе жена? Да чтоб ты треснула! Вот еще напидала из мою голову телепень, лежебока, прости господи!

— Ну, ну... Сши!

— Нечастная я! — зарыдала дьячиха. — Коли б не ты, я, может, за купца бы вышла, или за благородного какого! Коли б я ты, я бы теперь мужа любила! Не замоло тебя снегом, не замерзь ты там на большой дороге, ирод!

Долго плакала дьячиха. В конце концов сна глубоко задохнула и утихла. За окном все еще зиялась выюга. В пече, в трубе, за всеми стенами что-то плакало, а Савелью казалось, что это у него внутри и в ушах плачет. Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены. Что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась ветрами и почтовыми тройками, в этом уж он более не сомневался. Но, к сугубому горю его, эта таинственность, эта сверхъестественная, дикая сила придавали лежащей около него женщине особую неподражаемую прелест, какой он и не замечал ранее. Оттого, что он по глупости, сам того не замечая, опоэтизировал ее, она стала как будто более, гляже, неприступнее...

— Ведьмак! — негодовал он. — Тыфу, противная!

А между тем, дождавшись, когда она утихла и стала ровно дышать, он коснулся пальцем ее затылка... подержал в руке ее толстую носу. Она не слышала... Тогда он стал смелее и погладил ее по шее.

— Отстань! — крикнула она и так стукнула его локтем в переносицу, что из глаза его посыпалась искры.

Боль в переносице скоро прошла, но пытка все еще продолжалась.

1885.

РАССКАЗ БЕЗ КОНЦА.

(Сценка.)

В начале третьего часа одной из давно уже перенесенных ночей, ко мне в кабинет вдруг, неожиданно вбежала бледная, взволнованная кухарка и объявила, что у нее в кухне сидит владелица соседнего домишко, старуха Малютиха.

— Просит, барин, чтоб вы к ней сходили... — сказала кухарка, тихо переведи дух. — С ее испытанием нехорошо случилось... Застрелила или повесила...

— Что же я могу сделать? — сказал я. — Пусть идет к доктору или в полицию!

— Куда ей искать доктора! Она еле дышит и от страха под печью забилась... Сходили бы, барин!

Я оделся и пошел в дом Малютихи. Калитка, к которой я направился, была отворена. Постояв около нее в нерешимости и не нащупав дворниконого звонка, я вошел во двор. Крыльцо, темное и покинувшееся, было тоже не заперто. Я отворил его и вошел в сени. Тут ни зги света, сплошной мрак и вдобавок еще чувствительный запах ладана. Нашупывая выход из сеней, я ударился локтем о что-то железное и наткнулся в потемках на какую-то доску, которую чуть было не свалил на землю. Наконец, дверь, оббитая порванным войлоком, была найдена, и я вошел в маленькую переднюю.

Сейчас я пишу не юмористический рассказ и далек от намерения шутить читателя, но картина, которую я увидел из сеней, была фантастична и могла быть нарисована одною только смертью. Прямо передо мной была дверь, ведущая в маленький залник. Потинные, яспидного цвета обои скучно освещались тремя, рядом стоявшими, восковыми пяткошечечными свечами. Посреди залника из двух столов стоял гроб. Восковые свечки горели для того, чтобы освещать маленькое, смутно-бледное лицо с полуоткрытым ртом и острым носом. От лица до кончиков двух башмаков междались в беспорядке волны мирли и кисси, а из волни глядела две бледные, исподианные руки с восковым крестиком. Темные, мрачные углы залника, образа за гробом, гроб — все, кроме тихо мерзавших огней, было неподвижно-мертвенно, как сама могила...

«Что за чудеса? — подумал я, ошеломленный впечатлением панорамой смерти. — Откуда такая скропостижность? Не успела женщина повеситься или застрелиться, как уже и гроб!»

Я огляделся. Налево была дверь со стеклянным верхом, направо хромая вешалка с поношенной шубенкой...

— Воды дайте... — услыхал я стоны.

Стон шел слева, из-за двери со стеклянным верхом. Я открыл эту дверь и вошел в маленькую комнату, темную, с единственным окном, по которому робко скользил слабый свет от уличного фонаря.

— Здесь есть кто-нибудь? — спросил я.

И, не дождавшись ответа, я зажег спичку. Пока она горела, я увидел следующее. У самых ног моих, на окраинном краю полу сидел человек. Сделай я шаг подлиннее, я наступил бы на него. Протянувперед ноги и упиралась руками о пол, он силится поднять кверху свое красивое, смертельно-бледное, лицо с черной, как туча, окладистой бородой. В больших глазах, которые он поднял на меня, я прочел неизразумимый ужас, боль, мольбу. По лицу его большими каплями тек холодный пот. Этот пот, выражение лица, дрожание подшивающихся рук, тяжелое дыхание и стиснутые зубы говорили, что он страдал невыносимо. Около правой руки его в луже крови валялся револьвер.

— Не уходите... — услыхал я слабый голос, когда погухла спичка. — Спеча на столе.

Я зажег спичку и, не знаю, с чего начать, остановился посреди комнаты. Я стоял и глядел на человека, сидевшего на полу, и мне казалось, что я ранее уже где-то видел его.

— Боль нестерпимая, — прошептал он, — а нет сил выстремить в себя еще раз. Непонятная нерешимость!

Ябросил с себя пальто и занялся больным. Подняв с пола, как ребенка, я положил его на кленчатый диван и осторожно развел. Он дрожал и был холоден, когда я снял с него одежду; рана же, которую я увидел, не соответствовала ни этой дрожи, ни выражению лица больного. Она быланичтожна. Пуля прошла между 5 и 6 ребром левой стороны, разорвав почку и клацнатку —

только. Самую пушу нашел я в складках сюртучной подкладки омоло задиго кармана. Остановив, как умел, кровь и сделав временную повязку из павловочки, полотенца и двух платков, я дал больному напиться и укрыл его висевшей в передней шубенкой. Во все время перевязки мы оба не сказали ни слова. Я работал, а он лежал неподвижно и глядел на меня сквозь сильно прищуренные глаза, как бы стыдясь своего неудачного выстрела и тех хлопот, которые он мне причинил.

— Теперь вы погрудитесь лежать покойно, — сказал я, покончив с повязкой, — а я сбегаю в аптеку и возьму там что-нибудь.

— Не нужно! — пробормотал он, хватая меня за руки и открывая глаза во всю их ширь.

В глазах его я прочел испуг. Он боялся, чтобы я не ушел.

— Не нужно! Посидите еще минут шесть... десять... Если вам не противно, то сядьте, прошу вас.

Он просил и дрожал, стуча зубами. Я послушался и сел на край дивана. Десять минут прошло в молчании. Я молчал и обозревал комнату, в которую так неожиданно занесла меня судьба. Какая бедность! У человека, обладавшего красивым, изященным лицом и выхоленной, окладистой бородой, была обстановка, которой не позавидовал бы простой мастеровой. Диван с облезлой, дырявой kleenкой, простой засаленный стол, стул, заваленный бумажным хламом, да прескверная олеография на стене — вот и все, что я увидел. Сиро, мрачно и серо.

— Какой ветер! — проговорил больной, не отрывая глаз. — Как он поет!

— Да... — сказал я. — Послушайте, мне кажется, что я вас знаю. Вы не участвовали в прошлом году в любительском спектакле у генерала Лухачева на даче?

— А что? — спросил он, быстро открыв глаза.

По лицу его пробежала тучка.

— Точно я видел вас там. Вы не Васильев?

— Хоть бы и так, ну так что же? От этого не легче, что вы меня знаете.

— Не легче, но я спросил вас так... между прочим.

Васильев закрыл глаза и, словно обиженный, повернул свое лицо к спинке дивана.

— Не понимаю я этого любопытства! — проворчал он. — Недостает еще, чтобы вы стали допрашивать, какие причины побудили меня к самоубийству!

Не прошло и минуты, как он опять повернулся ко мне, открыл глаза и заговорил плачущим голосом:

— Вы извините меня за этот тон, но, соглашайтесь, я прав! Спрашивать у арестанта, за что он сидит в тюрьме, а у самоубийцы, зачем он стрелялся, невеликодушно и... неделикатно. Удовлетворить праздное любопытство на чужих нервах!

— Напрасно вы волнуетесь... Я и не думал спрашивать вас о причинах.

— Так спросили бы... Это в привычке людей. А к чему спрашивать? Скажу я вам, а вы или не поймете, или не поверите... Я и сам, признаюсь, не понимаю... Есть протонольно-газетные термины вроде «безнадежная любовь» и «безвыходная бедность», но прочтены неизвестны... Их не знаю ни я, ни вы, ни ваши родители, в которых дергают писать «из дневника самоубийцы». О них только бог понимает состояние души человека, отнимающего у себя жизнь, люди же не знают.

— Все это очень мило, — сказал я, — но вам не следует много говорить...

Но мой самоубийца разошелся. Он подпер голову кулаком и продолжал толкать больно о профессора:

— Никогда не понять человеку психологических тонкостей самоубийства! Где причины? Сегодня причина заставляет хвататься за револьвер, а завтра эта же самая причина кажется не стоящей никакого внимания... Все зависит, вероятно, от индивидуализации субъекта в данное время... Взять, например, меня. Полчаса тому назад я страсти ждал смерти, теперь же, когда горят свечи и вспомнили сидите вы, я и не думаю о смертном часе. Объясните-ка эту перемену! Стал ли я богаче, или воскресла моя искра? Появился ли на меня этот свет, или присутствие постороннего человека?

— Свет, действительно, влияет... — пробормотал я, чтобы сказать что-нибудь.

— Влияние света... Допустим! Но ведь стреляются и при свечах! И мало части героям ваших романов, если такой пустяк, как свечка, так резко изменяет ход драмы! Вся эта галиматья, может быть, и объяснима, но не нами. Чего не понимаешь, того и спрашивай, и объяснять нечего...

— Простите, — сказал я, — но... судя по выражению вашего лица, мне кажется, что в данную минуту вы... рисуетесь.

— Да? — спохватился Васильев. — Очень может быть! Я по природе ужасно суевец и фатоват. Ну, вот объясните, если вы верите своей физиономии! Полчаса тому назад стрелялся я сейчас рисуюсь... Объясните-ка!

Последние слова Васильев проговорил слабым, потухающим голосом. Он утомился и умолк. Наступило молчание. Я стал рассматривать его лицо. Оно было бледно, как у мертвеца. Жизнь в нем, казалось, погасла, и только следы страданий, которые перенес «сущный и фатоватый» человек, говорили, что оно еще живо. Жутко было глядеть на это лицо, но каково же было самому Васильеву, у которого хватало еще сил философствовать и, если я не ошибаюсь, разговаривать!

— Вы здесь? — спросил он, вдруг приподнявшись на локте. — Боже мой! Ну никак только прислушаться!

Я стал слушать. За темным окном, ни на минуту не умолкая, сердце стучал дождь. Жалобно и тоскливо гудел ветер.

— «Н паче снега убелюся, и слуху моему дади радость и веселье», — читала в зале возвращавшаяся Милотиха ленивым,

утомленным голосом, не повышая и не понижая однообразной, скучной ноты.

— Не правда ли, это весело? — прошептал Васильев, повернув ко мне свое испуганное лицо. — Боже мой, чего только ни приходится видеть и слышать человеку! Переложить бы этот хаос на музыку! «Не знающих привел бы он в смятение, — как говорит Гамлет, — исторг бы силу из очей и слуха». Как бы я понял тогда эту музыку! Как бы прочувствовал! Который час?

— Без пяти три.

— Далеко еще до утра. А утром похороны. Красивая перспектива! Идешь за гробом по грязи, под дождем. Идешь и не видишь ничего, кроме облачного неба, да дрянных пейзажей. Грязные фанельщики, набаки, дровяные склады... брошки мокры до колен. Улицы бесконечно длинны, время тянется как вечность, народ груб. А на душе камень, камень!

Помолчав немного, он вдруг спросил:

— Давно видели генерала Лухачева?

— С самого лета не видел.

— Любит петушиться, но милый старичка. А вы все покисываете?

— Да, немножко.

— Так... А помните, каким фырчиком, восторженным теленком прыгал я на этих любительских спектаклях, когда ухаживал за Зиной? Глупо было, но хорошо, весело... Даже при воспоминании весной пахнет... А теперь! Какая реальная перемена декораций! Вот вам тема! Только вы не вадумайте писать «дневника самоубийцы». Это пошло и шаблонно. Вы хватите что-нибудь юмористическое.

— Вы опять... рисуетесь, — сказал я. — В вашем положении ничего нет юмористического.

— Ничего нет смешного? Вы говорите, ничего нет смешного?

Васильев приподнялся, и на глазах его заблестели слезы. Выражение горькой обиды разлилось по его бледному лицу, задрожал подбородок.

— Вы смеетесь над кассирами и неверными женами, которые надувают, — сказал он, — но ведь ни один кассир, ни одна неверная жена не надували так, как надула меня моя судьба! Я так обманут, как не обманывался еще ни один банковский кладчик, ни один рогатый муж! Прочувствуйте только, в каких смешных дурацах я остался! В прошлом году, на ваших глазах не знал, куда деваться от счастья, а теперь на ваших же глазах...

Васильев упал головой на подушку и засмеялся.

— Смешнее и глупее такого перехода и выдумать нельзя. Первая глава: весна, любовь, медовый месяц... мед, одним словом; вторая глава: искашение должности, ссуда денег под залог, бедность, аптека и... завтрашнее плеванье по грязи на кладбище.

Он опять засмеялся. Мне стало жутко, и я покинул уют.

— Послушайте, — сказал я, — вы лежите, а я сюда в аптеку. Он не ответил. Я надел пальто и вышел из его комнаты. Проходил через сени, я взглянул на гроб и читавшую Милотиху. Как я ее изогнула зрению, но не сумел в желто-смуглом лице узнать Зину, бойкую, хорошенкую индюшку Лухачевской труппы.

«Si triste», — подумал я.

Затем я вышел, не забыв прихватить с собою револьвер, и отправился в аптеку. Но не следовало мне уходить. Когда я вернулся из аптеки, Васильев лежал у себя на диване в обмороже. Повязка была грубо сорвана, а из растрескавшейся раны текла кровь. Привести его в чувство мне не удалось до самого утра. Он лахоредочно бредил, дрожал и водил безумными глазами по окрестам все время, пока не наступило утро и не послышался звонок священника, начавшего служить панихиду.

Когда квартира Васильева наполнилась старухами и факельщиками, когда гроб тронули с места и понесли со двора, я посоветовал Васильеву оставаться дома. Но он не послушался, несмотря ни на боль, ни на серое, дождливое утро. До самого кладбища шел он за гробом без шапки, молча, едва волоча ноги и изредка коммультивно хватаясь за раненый бок. Лицо выражало полнейшую апатию. Рав только, когда я накинул на него чистокнижный вопросом вывел его из забытья, он обвел глазами мостовую, серый забор, и в глазах его на мгновение сверкнула мрачная алоба.

— «Надьное завещание», — прочел он вывеску. — Бесплатные певческие, чорт бы их всяя овсем!

С кладбища я повез его к себе.

Прошел еще только год с той ночи, и Васильев еще не успел, как следует, сносить сапог, в которых шлепал по грязи за гробом жены.

В настоящее время, когда я оканчиваю этот рассказ, он сидит у меня в гостиной и, играя на пианино, показывает дамам, как провинциальные барышни поют чувствительные романсы. Дамы хохочут и он сам хохочет. Ему весело.

Я зову его к себе в кабинет. Видимо недовольный тем, что я — его приятного общества, онходит ко мне и останавливается передо мной в позе человека, которому некогда. Я подаю ему этот рассказ и прошу прочесть. Он, всегда синхроничный к моему авторству, заглушает свой вздох, вздох читательской лени, садится в кресло и принимается за чтение.

— Чорт возьми, какие ужасы, — бормочет он, улыбаясь. Но чем более он углубляется в чтение, тем серьезнее становится его лицо. Наконец, под напором тяжелых воспоминаний, он страшно бледнеет, поднимается и продолжает чтение стол. Он один, он начинает шагать из угла в угол.

— Чем же кончить? — спрашиваю я его.

— Чем кончить? Гм...

Он скользит взглядом комнату, меня, себя... Он видит свой новый модный костюм, слышит смех дам и... упав на кресло, начинает смеяться, как смеялся он в ту ночь.

— Ну, не прав ли я был, когда говорил тебе, что все это смешно? Боже мой! Вынес и на своих плечах столько, сколько слону на спине не подобрать, выстрадал чорт знает сколько, больше уж, кажется, и выстрадать нельзя, а где следы? Удивительное дело! Казалось бы, ветна, испагнадира и неприкосновенна должна быть печать, налагаемая на человека его муками. И что же? Эта печать изнашивается так же легко, как и дешевые подметки. Ничего не осталось, хоть бы тебе что! Словно я тогда не страдал, а мазурку писал. Превратно все на свете, и смешна эта превратность! Широкое поле для юмористики!.. Загин-ка, брат, юмористический конец!

— Петр Николаевич, скоро ж вы? — зовут моего героя нетерпеливые дамы.

— Сию минуту-с! — говорит «суетный и фатоватый» человек, поправляя галстук. — Смешно, брат, и жаль, жаль и смешно, но что поделаешь? Homo sum... А все-таки хвалю природу-матушку за ее обмен веществ. Если бы у нас оставалось мучительное воспоминание о зубной боли, да о тех страхах, которые приходитсяаждому из нас переживать, будь все это вечно, — скверно жилось бы тогда на свете нашему брату-человеку!

Я смотрю на его улыбающееся лицо, и мне припоминается то отлихне и тот ужас, которыми полны были его глаза, когда он год тому назад глядел на темное окно. Я вижу, как он, входя в свою обычную роль ученого пустословца, собирается покончить передо мною своими праздными теориями в роде обмена веществ, и в это время мне припоминается он, сидящий на полу в луже крови, с больными, умоляющими глазами.

— Чем же кончить? — спрашиваю я себя вслух.

Васильев, посвистывая и поправляя галстук, уходит в гостиную, а я гляжу ему вслед и досадно мне. Жаль мне почему-то его прошлых страданий, — жаль всего того, что я и сам перечувствовал ради этого человека в ту нехорошую ночь. Точно я потерял что-то...

1856.

ШУТОЧКА.

Ясный, зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Вокруг нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.

— Съедите вниз, Надежда Петровна! — умолю я. — Один только раз! Уверяю вас, мы останемся целы и непредвидимы.

Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких носков до конца ладони горы кажется ей странной, неземно глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она украдкой смеется.

— Умолю вас! — говорю я. — Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость!

Наденька, наконец, уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и вместе с нею извергаюсь в бездну.

Санки летят, как пули. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, систит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длину, стремительно бегущую полосу... Вот-вот еще мгновение и кажется, — мы погибнем!

— Я люблю вас, Надя! — говорю я вполголоса.

Санки начинают бежать все тише и тише, рев ветра и жужжащие полозья не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы, наконец, вижу. Наденька или жива, или мертва. Она бледна, едва дышит... Я помогаю ей подняться.

— Ни за что в другой раз не поеду, — говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. — Ни за что на свете! Я едва не умерла!

Немного погодя, она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку.

Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покоя. Были сказаны те слова, или нет? Да, или нет? Да, или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, проницающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает неспопад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость...

— Знаете что? — говорит она, не глядя на меня.

— Что? — спрашиваю я.

— Давайте еще раз... прокатим.

Мы выбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса.

— Я люблю вас, Надежда!

Когда санки останавливаются, Наденька склоняет взгляд гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в нее.

вается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и беострастный, и вся, вся, даже муфта и башмак ее, вся ее фигура — выражают крайнее недоумение. И на лице у нее написано:

— В чем же дело? Кто произнес те слова? Он, или мне только посльшалось?

Эта неизвестность беспоконит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать.

— Не пойти ли нам домой? — спрашиваю я.

— А мне... мне нравится это катанье, — говорит она, краснея. — Не проехаться ли нам еще раз?

Ей «нравится» это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит.

Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашлю и, когда достигаем середини горы, успеваю выплыть:

— Я люблю вас, Надя!

И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то думает... Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и все идет, не склоняя ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать:

— Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!

На другой день утром я получаю записочку: «Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. Н.» И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток и, слетая вниз на санках, и всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова:

— Я люблю вас, Надя!

Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые попрежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое: я и ветер... Кто из двух признается ей в любви, она не знает, но ей, повидимому, уже все равно; из какого сосуда ни пить — все равно, лишь бы быть пьяным.

Как-то в полдень я отправился на каток один; смеявшись с толпой, я вижу, как и горе подходит Наденька, как ищет глазами меня... Затем она робко идет вверх по лесенке... Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она идет точно на казнь, но идет, идет без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила, наконец, попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в сани, за-

крывает глаза и, простираясь павлики с землей, трогается с места... «Боже...»... вскакивает половня. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю... Я вижу только, как она поднимается из саней изможденная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, сдвинула она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать...

Но вот наступает весенний месяц март... Солнце становится ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает, наконец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уже некогда слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург — надолго, должно быть, навсегда.

Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями... Еще достаточно холодно, под забором еще снег, деревья мертвые, но уже пахнет весной и, укладываясь на постел, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо... Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо... Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным, грустным, но щеки покрасели слезы... И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Надя!

Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостные, счастливые, тамая красивые.

А я иду укладываться...

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; ее выдали, или она сама вышла — это все равно, за секретаришу дворянской охоты, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доподлинно до нее слова «я вас люблю, Наденька», не забыто; для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни...

А мне теперь, когда я стал старше, уже не понятно, зачем я говорил те слова, для чего шумел...

1886.

МОЙ РАЗГОВОР С ПОЧТМЕЙСТЕРОМ.

— Скажите, пожалуйста, Семен Алексеич, — обратился я к почтмейстеру, получая от него денежный пакет на один (1) рубль, — зачем это к денежным пакетам прикладывают пять печатей?

— Нельзя без этого... — ответил Семен Алексеевич, значительно пошевелив бровями.

— Почему же?

— А потому... Нельзя!

— Видите ли, насколько я понимаю, эти печати требуют жертв как со стороны обывателей, так и со стороны правительства. Увеличивая вес пакета, они тем самым бьют по карману обывателя, отнимая же у чиновников время для их прикладывания, они наносят ущерб казначейству. Если в приходят они кому-нибудь, видимую пользу, то разве только сургучным фабрикантам...

— Надо же и фабрикантам чем-нибудь жить... — глубокомысленно заметил Семен Алексеевич.

— Это так, но ведь фабриканты могли бы приносить пользу отечеству и на другом поприще... Нет, серьезно, Семен Алексеевич, какой смысл имеют эти пять печатей? Нельзя же, ведь, думать, чтобы они прикладывались зря! Имеют они значение символическое, пророческое, или иное какое? Если это не составляет государственной тайны, то объясните, голубчик!

Семен Алексеевич подумал, задохнулся и сказал:

— Мла... Стало-быть, без них нельзя, ежели их прикладывают!

— Почему же? Прежде, когда конверты были без подклейки, они, быть может, имели смысл, как предохранительное средство от посыгателей, теперь же...

— Вот видите! — обрадовался почтмейстер. — А нашто по-слагатель! ист?

— Теперь же, — продолжал я, — у конвертов есть подклейка из гумми-арабика, который прочнее всякой сургучи. К тому же вы запаковываете пакеты во столько бумаг и тюков, что пробраться к ним трудно даже инфузории, а не то что вору. И от него запечатывать, не понимаю! Публика у вас не ворует, а ежели который из ваших нижних чинов захочет посагнуть, так он и на печати не посмотрит. Сами знаете, печать снять и опять к месту приложить — раз плюнуть!

— Это верно... — задохнулся Семен Алексеевич. — От своих воров не убережешься...

— Ну, вот видите! К чему же печати?

— Ежели во все входить... — протяжно произнес почтмейстер. — да обо всем думать, как, почему, да вачем, так это могли распорячаться, а лучше делай так, как показано... Право!

— Это справедливо... — согласился я. — Но позвольте еще один вопрос... Вы специалист по почтовой части, а потому скажите, пожалуйста, отчего это, когда человек родится или не родится, то не бывает таких процедур, как ежели он деньги отправляет или получает? Взять для примера хоть мою мамашу, которая посыпала мне этот самый рубль. Вы думаете, ей это легко пришлось? Не-ет-с, легче ей еще пятерых детей произ-

весть, чем этот рубль посыпать... Судите сами... Прежде всего ей нужно было пройти три версты на почту. На почте нужно долго стоять и ждать очереди. Цивилизация, ведь, не дошла еще на почту до стульев и скамеек! Старушка стоит, а тут ей: «Погодите! Не толпитесь! Прошу не облокачиваться!»

— Без этого нельзя...

— Нельзя, но позвольте... Доjdальась очередь, сейчас приемщик берет пакет, хмурится и бросает назад. «Вы, говорит, забыли написать «денежное»... Моя старушка идет с почты в лавочку, чтоб написать там «денежное», из лавочки опять на почту ждать очереди... Ну-с, приемщик опять берет пакет, считает деньги и говорит: «Ваш сургуч?» А у моей мамаши этого сургуча даже в воображении нет. Дома его держать не приходится, а в лавочке, сами знаете, гравеник за палочку стоит. Приемщик, конечно, обижается и начинает суспить пакет на зернистом сургучом. Такие печатчики насуслит, что не лотами, а берковцами считать приходится. «Вашу, говорит, печатку?» А у моей мамаши, кроме наперстка да стальных очков — никакой другой мебели...

— Можно и без печатки...

— Но позвольте... Засим следуют весомые, страховые, за сургуч, за расписку, за... голова кружится! Чтобы рубль послать, непременно нужно с собой на всякий случай два иметь... Ну-с, рубль записывают в 20-ти книгах и, наконец посыпают... Получите теперь вы его здесь, на своей почте. Вы первым делом его в 20-ти книгах записываете, пятью номерами нумеруете и за десять замков прачете, словно разбойника какого, или святотатца. Засим почтальон приносит мне от вас объявление, и я расписуюсь, что объявление получено такого-то числа. Почтальон уходит, а я начинаю ходить из угла в угол и роптать: «Ах, мамаша, мамаша! За что вы на меня прогневались? И за какую такую провинность вы мне этот самый рубль прислали? Ведь теперь умрешь от хлопот!»

— А на родителей грех роптать! — задохнулся Семен Алексеевич.

— То-то вот оно и есть! Грех, но как не возроптать? Тут дела по горло, а ты иди в полицию и удостоверяй личность и подпись... Хорошо еще, что удостоверение только 10—15 коп. стоит, — а что, если б за него рублей пять брали? И для чего, спрашивается, удостоверение? Вы, Семен Алексеевич, меня отлично знаете... И в бане я с вами был, и чай пилили вместе, и умные разговоры разговаривали... Для чего же вам удостоверение моей личности?

— Нельзя, форма!.. Форма, сударь мой, это такой предмет, что... лучше и не связываться... Формалистика, одним словом!

— Но ведь вы меня знаете!

— Мало ли что! Я знаю, что это вы, ну... а вдруг это не вы? Кто вас знает! Может, вы никогнико!

— И рассудили бы вы: какой мне расчет поддавывать чужую подпись, чтобы украдь деньги? Ведь это подлог-то! Гравадо меньшее наказание, ежели я просто приду сюда к вам и хашу все пакеты из сундука... Нет-с, Семен Алексеич, за границей это дело проще поставлено. Там почтальон входит к вам и — «Вы такой-то? Получите деньги!»

— Не может этого быть... — покачал головой почтмейстер.

— Вот вам и не может быть! Там все зависит на взаимном доверии... Я вам доверю, вы мне... Намедни приходит ко мне квартальный надзиратель, получать судебные надзоры... Ведь я же не потребовал от него удостоверения личности, а так ему деньги отдал! Мы, обыватели, не требуем с вас, а вы...

— Ежели во все винять, — перебил меня Семен Алексеич, грустно усмехаясь, — да ежели все решать, как, что, почему да зачем, так, по-моему, лучше...

Почтмейстер не договорил, махнул рукой и, подумав немного, сказал:

— Но нашего ума это дело!

1886.

АГАФЬЯ.

В бытность мою в С — м уезде мне часто приходилось бывать на Дубовских огородах у огородника Саввы Стукача, или попросту Савки. Эти огорода были моим излюбленным местом для так называемой «генеральной» рыбной ловли, когда, уходя из дома, не знаешь дня и часа, в которые вернешься, забираешь с собой все до одной рыболовные снасти и запасаешься провизией. Собственно говоря, меня не так занимала рыбная ловля, как быдлительные шатаньи, еда не во-время, беседы с Савкой и продолжительные очные ставки с тихими, летними ночами. Савка был парень лет 25, рослый, красивый, здоровый, как временем. Сыпал он за человеком рассудительного и толкового, был громотен, водку пил редко, но, как работник, этот молодой и спесивый человек не стоял и гроша медного. Рядом с силой в твоих крепких, полных мышцах разливалась тяжесть, исподбданная лень. Жил он, как и все, на деревне, в собственной избе, пользовался надежом, но не пахал, не сеял и никаким ремеслом не занимался. Старуха-мать его побиралась под окнами, и сам он жил, как птица небесная: утром не знал, что будет есть в подень. Но то, чтобы у него не хватало воли, энергии, или жалости и матери, а просто так, не чувствовалось охоты к труду и не сознавалась польза его... От всей фигуры так и веяло безмятежностью, врожденной, почти артистической страстью к ничью при, спустя рукава. Когда же молодое, здоровое тело Савки физиологически потягивало к мышечной работе, то парень не-надолго весь отдавался какой-нибудь свободной, по-здоровой

профессии вроде точения ин к чему ненужных колышков, или беганья с бабами на перегонку. Самым любимым его положением была сосредоточенная неподвижность. Он был в состоянии простоять целые часы на одном месте, не шевелясь и глядя в одну точку. Двигался же по вдохновению и то только, когда представлялся случай сделать какое-нибудь быстрое, порывистое движение: ухватить бегущую собаку за хвост, сорвать с бабы платок, перескочить широкую яму. Само собою разумеется, что при такой склонности на движении, Савка был гол как сокол и жил хуже всячего боялья. С течением времени должна была накопиться недомыслия, и он, здоровый и молодой, был послан миром на стариковское место, в сторожа и пугало общественных огородов. Как ни смелись над ним по поводу его преиздевременной старости, но он и в ус не дул. Это место, тихое, удобное для неподвижного созерцания, было как раз по его натуре.

Случилось мне быть у этого самого Савки в один из хороших майских вечеров. Помню, я лежал на рваной, затасканной полости почты у самого шалаша, от которого шел густой и душный запах сухих трав. Подложив руки под голову, я глядел вперед себя. У ног моих лежали деревянные вилы. За ними черным пятном разилась в глаза собачонка Савки — Кутыка, а не дальше, как сажени, на две от Кутыки, земля обрывалась в крутой берег речки. Лежа, я не мог видеть реки. Я видел только верхушки лозняка, теснившегося на этом берегу, да извилистый, склонно обгрязанный и край противоположного берега. Далеко за берегом, на темном бугре, как испуганные молодые куропатки, жались друг к другу избы деревни, в которой жил мой Савка. За бугром догорала вечерняя заря. Осталась одна только бледно-багровая полоска, да и та стала подергиваться мелкими облачками, как уголья пеплом.

Направо от огорода, тихо пошептывая и изредка задравивая от невзначай налетевшего ветра, темнела осыховая роща, налево тнуулось необозримое поле. Там, где глаз не мог уж отличить в темнотах поле от неба, ярио мерцал огонек. Поодаль от меня сидел Савка. Подняв под себя по-турецки ноги и свесив голову, он задумчиво глядел на Кутыку. Наши крючки с ниппелями давно уже стояли в реке, и нам ничего не оставалось делать, как только предаваться отдыху, который так любил никогда не утомлявшийся и вечно отыскивавший Савка. Заря еще не совсем потухла, а летняя ночь уж охватывала своей пенящей, усыпляющей лаской природу.

Все замирало в первом, глубоком сне, лишь какая-то неизвестная мне почта шла протяжно и лениво произносила в роще длинный членораздельный звук, похожий на фразу: «Ты Ни-ни-ту видел?» и тотчас же отвечала сама себе: «Видел! видел! видел!»

— Отчего это птичи соловьи не поют? — спросил я Савку.

Тот медленно повернулся ко мне. Черты лица его были ирупны, но ясны, выразительны и мягки, как у женщин. Затем он взглянул своими ироткими, задумчивыми глазами на рощу, на лозину, медленно вытащил из кармана дудочку, вложил ее в рот и запихал соловьихой. И тотчас же, точно в ответ на его писанье, на противоположном берегу заскрипал коростель.

— Вот вам и соловей... — усмехнулся Савка. — Дерг-дерг! Дерг-дерг! Словно за крючок дергает, а ведь небось тоже думает, что поет.

— Мне нравится эта птица... — сказал я. — Ты знаешь? Во время перелета коростель не летит, а по земле бежит. Пролетает только через реки и моря, а то все пешком.

— Ишь ты, собака... — пробормотал Савка, поглядев с уважением в сторону кричавшего коростеля.

Зная, каким любителем был Савка послушать, я рассказал ему все, что знал о коростеле из охотничьих книг. С коростелем я незаметно перешел на перелет. Савка слушал меня внимательно, не мигая глазами, и все время улыбался от удовольствия.

— А какой край для птиц роднее? — спросил он. — Наш или тамошний?

— Конечно, наш. Тут птица и сама родится, и детей выводит, здесь у нее родина, а туда она летит только затем, чтобы не замерзнуть.

— Любопытно! — потянулся Савка. — Про что ни говори, все любопытно. Птица талера, человек ли... камешек ли этот взять — во всем свою умственность... Эх, набы знатье, барин, что вы придетете, не велел бы я нынче бабе сюда приходить... Присялась одна нынче прийтить...

— Ах, сделай милость, и мешать не стану! — сказал я. — Я могу и в роще лечь...

— Ну, вот еще! Не умерла б, коли завтра пришла... Ежели б она села тут да разговоры слушала, а то ведь только слони распустят. При ней не поговоришь толком.

— Ты Дарью ждешь? — спросил я, помолчав.

— Нет... Нынче новая просилась... Агафья Стрельчиха...

Савка произнес это своим обычным, бесстрастным, несколько глухим голосом, точно говорил о табаке или каше, я же прискошил от удивления. Стрельчиху Агафью я знал... Это была совсем еще молодая бабенка, лет 19—20, не далее как год тому назад вышедшая замуж за железнодорожного стрелочника, молодого и бравого парня. Жила она на деревне, а муж ходил ночевать к ней с линии каждую ночь.

— Плохим, брат, кончатся все эти твои бабы истории! — вдохнул я.

— А пусть...

И, немного подумав, Савка прибавил:

— Я говорил бабам, не слушают... Им, дурам, и горя мало!

Наступило молчание... Потомки, между тем, все более огущались, и предметы теряли свои контуры. Полоха за бугром совсем уже потухла, а звезды становились все ярче, лучистее... Меланхолическая-одиночная трескотня кузнечиков, дерганье коростеля и крик перепела не нарушили ночной тишины, а, напротив, придавали ей еще большую монотонность. Казалось, тихо звучали и чаровали слух не птицы, не насекомые, а звезды, глядевшие на нас с неба...

Первый нарушил молчание Савка. Он медленно перевел глаза с черной Кутыки на меня и сказал:

— Вам, барин, я шину, скучно. Давайте ужинать.

И, не дожидаясь моего согласия, он пополз на животе в шалаш, пошарил там, причем весь шалаш затрепетал, как один лист; потом он пополз назад и поставил передо мной мою водку и черепашинную чапку. В чаше были печенные яйца, рисовые лепешки на сале, кучки черного хлеба и еще что-то... Мы выпили из краиного, пеумевшего стоять стаканчика, и принялись за еду... Страна, крупная соль, грязные, сальные лепешки, упругие, как репиня, яйца, но зато как это вкусно!

— Живешь бобылем, а сколько у тебя добра всякого, — сказал я, указывая на чашку. — Где ты его берешь?

— Бабы носят... — прозыкал Савка.

— За что же это они тебе носят?

— Так... из жалости...

Не одно только меню, но и одежда Савки косила на себе следы иссиной «жалости». Так, в этот вечер я заметил на нем новый, гарусный поясок и ярко-пунцовую ленточку, на которой висел на гранной шее медный крестик. Я знал о слабости про-красного пола к Савке и знал, как он неохотно говорил о ней, а потому не продолжал своего допроса. Да и к тому же не время было говорить... Кутыка, которая терлась около нас и терпеливо синцевала подачки, вдруг наострила уши и заворчала. Понималась она не столько от ходьбы, сколько, вероятно, от страха и непрятного чувства, испытываемого всячим при переходе в ночное время через брод. Увидев воше в шалаш вместо одного звонка, она слабо вскрикнула и отступила шаг назад.

— Кто-то бродом идет... — сказал Савка.

Минуты через три Кутыка опять заворчала и издала звук, похожий на кашель.

— Цыц! — крикнул на нее хозяин.

В потемках глухо залучали робкие шаги, и из рощи поиздевалась слышать женщины. Я увидал ее, несмотря даже на то, что было темно, — это была Агафья Стрельчиха. Она несмело подошла к нам, остановилась и тяжело перевела дыхание. Захватилась она не столько от ходьбы, сколько, вероятно, от страха и непрятного чувства, испытываемого всячим при переходе в ночное время через брод. Увидев воше в шалаш вместо одного звонка, она слабо вскрикнула и отступила шаг назад.

— А... это ты! — произнес Савка, запихивая в рот лепешку.

— Я... я-с... — забормотала она, роняя на землю узелок с чем-то и косясь на меня. — Кланялся вам Яков и велел передать... вот тут что-то такое...

— Ну, что врать: Яков! — усмехнулся Савка. — Нечего врать, барин злает, зачем ты пришла! Сидись, гостьей будешь.

Агафья покосилась на меня и нерешительно села.

— А уж я думал, что ты не придешь нынче... — сказал Савка после продолжительного молчания. — Что ж сидеть? Ешь! Или нечто дать тебе водочки выпить?

— Выдумали! — проговорила Агафья. — Пьяницу наизу нашел...

— А ты выше... Жарче на душе станет... Ну!

Савка подал Агафье кривой стаканчик. Та медленно выпила водку, не закусила, а только громко дунула.

— Принесла что-то... — продолжал Савка, развязывая узелок и придавая своему голосу спокойно-шутливый оттенок. — Баба без того не может, чтоб чего не принести. А, пирог и картошка... Хорошо живут! — вздохнул он, поворачиваясь ко мне лицом. — Во всей деревне только у них еще и осталась с зимы картошка!

Впопыхах я не видел лица Агафьи, но, по движению ее плеч и головы, мне казалось, что она не отрывала глаз с лица Савки. Чтобы не быть третьим лицом на свидании, я решил пойти гулять и поднялся. Но в это время в роще неожиданно соловецкаяла две птицы контратльтовые поты. Через полминуты он пустил вмесную, мелкую дробь и, испробовав таким образом свой голос, начал петь. Савка вскочил и прислушался.

— Это вчерашний! — сказал он. — Постой же!..

И, сорвавшись с места, он беспомощно побежал к роще.

— Ну, на что он тебе сдался? — крикнул я ему вслед. — Оставь!

Савка махнул рукой — не кричите, мол — и пошел в потемках. Когда хотел, Савка был прекрасным и охотником, и рыболовом, но и тут его таланты тратились так же попусту, как и сила. Для шаблона он был ленив, а всю свою охотничью страсть отдавал пустым фокусам. Так, соловьица ловил он непременно руками, стрелил бекасинником щук, или стоял, бывало, у реки по целым часам и изо всех сил старался поймать большим крючком маленькую рыбку.

Оставшись со мной, Агафья кашлянула и провела несколько раз по лбу ладонью... От выпитой водки она уж начинала пьянеть.

— Как живешь, Агаша? — спросил я ее после продолжительного молчания, когда уж неложно было молчать.

— Слава богу... Вы же никому не рассказывайте, барин... — прибавила она вдруг шепотом.

— Ну, полно. — успокоил я ее. — Кем же ты все-таки бесстрашная, Агаша... А если узнает Яков?

— Не узнает...

— Ну, а вдруг!

— Нет... Я раньше его дома буду. Он теперь на линии и вернется, когда почтовый поезд проводит, а отсюда слышно, когда поезд идет...

Агафья еще раз провела рукой по лбу и посмотрела в ту сторону, куда ушел Савка. Соловей пел. Какая-то ночной птица издала пролетела над самой землей и, заметя нас, вздрогнула, зашуршила крыльями и полетела на ту сторону реки.

Скоро соловей умолк, но Савка не возвращался. Агафья встала, беспокойно сделала несколько шагов и озирать села.

— Да что же это он? — не выдержала она. — Ведь поезд не завтра придет! Мне сейчас уходить нужно!

— Савка! — крикнул я. — Савка!

Мне не ответило даже эхо. Агафья беспокойно задвигалась и опять встала.

— Мне уходить пора! — проговорила она волнующимся голосом. — Сейчас поезд придет! Я знаю, когда поезд ходят!

Бедная бабенка не ошиблась. Не прошло и четверти часа, как послышался далекий шум.

Агафья остановила долгий взгляд на роще и нетерпеливо защевелила руками.

— Ну, где же он? — заговорила она, нервно смеясь. — Куда же это его унесла нелегкая? Я уйду! Ей-богу, барин, уйду!

Между тем шум становился все явственней. Можно уж было отличить стук колес от тяжелых вздохов локомотива. Вот послышался свист, поезд глухо прокрутил по мосту... еще минута, и все стихло...

— Погожу еще минутку... — вздохнула Агафья, решительно садясь. — Так и быть, погожу!

Наконец, в потемках показался Савка. Он беспомощно ступал босыми ногами по рыхлой, огородной земле и что-то тихо мурлыкал.

— Ведь вот счастье, скажи на милость! — весело засмеялся он. — Только-что, это самое, значит, подошел к кусту и только-что стал рукой цепиться, а он и замотал! Ах ты, пес лысый! Ждал, ждал, покуда опять запоет, да так и плюнул...

Савка неуклюже повалился на землю около Агафьи и, чтобы сохранить равновесие, ухватился обеими руками за ее талию.

— А ты что насунулась, словно тетка тебя родила? — спросил он.

При всем своем мягкостердечии и простодушии Савка прे-зирал женщин. Он обходился с ними небрежно, свысока и даже унижался до презрительного смеха над их чувством к его же собственной особе. Бог знает, быть может, это небрежное, презрительное обращение и было одной из причин его сильного, неотразимого обаяния на деревенских дульчиней. Он был красив истроен, в глазах его всегда, даже при взгляде — презираемых

им женщины, светилась тихая ласковость, но одними внешними качествами не объяснишь этого обаяния. Кроме счастливой наружности и своеобразной манеры обращения, надо думать, имела влияние на женщину также еще и трогательная роль Савки, как всеми пришанинного неудачника и несчастного изгнаниника из родной избы и огорода.

— А рассказки-ка берину, зачем ты сюда пришла! — продолжал Савка, все еще держа Агафью за талию. — Ну-ка, расскажи, мушинина жена! Хо-хо... Нешто нам, брат Агаша, еще водочки выпить?

Я поднялся и, пробирясь между грядами, пошел вдоль огорода. Темные гряды глядели, как большие, приплюснутые могилы. От них веяло запахом вскапанной земли и некной сыростью растений, начавших покрываться росой... Налево все еще светился крепкий огонек. Он приветливо моргал и, казалось, улыбался.

Я услышал счастливый смех. То смехлась Агафья.

«А позад? — вспомнил я. — Поезд давно уже пришел».

Подождав немного, я вернулся к шалашу. Савка сидел неподвижно по-турецки и тихо, чуть слышно, мурлыкал какую-то песню, состоявшую из одних только односложных слов, что-то вроде: «Фу ты, ну ты... и да ты...». Агафья, опьяненная водкой, презрительной лаской Савки и духотою ночи, лежала возле него на земле и судорожно прижималась лицом к его колену. Она так далеко ушла в чувство, что и не заметила моего прихода.

— Агаша, а ведь поезд давно уж пришел! — сказал я.

— Пора, пора тебе, — подхватил мою мысль Савка, встряхивая головой. — Что разлеглась тут? Ты, бесстыжая!

Агафья встрепенулась, отняла голову от его колена, взглянула на меня и опять пришла к нему.

— Давно уж пора! — сказал я.

Агафья заворочалась и пристала на одно колено... Она страдала... Полминуты вся ее фигура, насколько я мог рассмотреть сквозь потемки, выражала борьбу и ис-~~и~~-банье. Было мгновение, когда она, будто очнувшись, вытянула корпус, чтобы подняться на ноги, но тут какая-то непобедимая и неумолимая сила толкнула ее по всему телу, и она пришла к Савке.

— А иу его! — сказала она с диким, грудным смехом, и в этом смехе слышалась бесрассудная решимость, бессила, боль.

Я тихо побрал в рощу, а оттуда спустился к реке, где стояли наши рыболовные снасти. Река спала. Какой-то мягкий, махровый цветок на высоком стебле можно коснуться моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит. От нечего делать, я нашупал одну леску и потянул ее. Она слабо напряглась и помискала — ничего не поймалось... Того берега и деревни не было видно. В одной избе мелькнул огонек, но скоро погас.

Я взмырал на берегу, нашел выемку, которую приглядел еще днем, и усажусь в нее, как в кресле. Долго я сидел... Я видел, как звезды стали туманиться и терять свою личногость, как звонко ветерком пронеслась по земле прохлада и тронула листья просыпавшихся из...

— А-га-фа!.. — доносился из деревни чей-то глухой голос. — Агафья!

То вернувшийся и истревоженный муж искал по деревне свою жену. А с огородов слышался в это время неодержимый смех: жена забылась, опьянила и счастием нескольких часов старалась извлечь ожидавшую ее изавтра муку.

Я уснул.

Когда я проснулся, около меня сидел Савка и слегка тряс меня плечо. Рена, роща, оба берега, зеленые и умытые, деревни и дома — все было залито ярким утренним светом. Сквозь тонкие стволы деревьев били в мою спину лучи только что взошедшего солнца.

— Так-то вы рыбу ловите? — усмехнулся Савка. — Ну, вставайте!

Я встал, сладко потянулся, и проснувшаяся грудь мои на-~~ши~~ жадно пить влажный, дущистый воздух.

— Агаша ушла? — спросил я.

— Вот она, — указал мне Савка в сторону, где был брод. Я выглянул и увидел Агафью. Приподняв платье, растрепанная, со сплющенным с головы платком, она переходила реку. Ноги ее ступали «сл-е-и»...

— Знает кошка, чье мясо съела! — бормотал Савка, щуря на нее глаза. — Идет и хвост подиная... Шкодницы эти бабы, или кошки, трусливы, — или зайцы... Но ушла, дура, вчера, когда говорила ей! Теперь ей достанется, да и меня в волости... снять за баб драть будут...

Агафья ступила на берег и пошла по полю к деревне. Сначала она шагала довольно смело, но скоро волнение и страх взяли свое: она пугливо обернулась, остановилась и перепела дух.

— То-то, что страшно! — грустно усмехнулся Савка, глядя на ярко-зеленую полосу, которая тянулась по росистой траве вслед за Агафьей. — Не хочется идти! Муж-то уж целый час стоит и подицает... Видели его?

Савка сказал последние слова улыбаясь, а у меня похолодело под сердцем. В деревне, около краиной избы, на дороге, стоял Яков и в упор глядел на возвращающуюся к нему жену. Он не шевелился и был неподвижен, как столб. Что он думал, гляди на нее? Какие слова готовил для встречи? Агафья постонала немножко, еще раз оглянулась, точно окнадая от нас почеки, и пошла. Никогда я не видел такой походки ни у пьяных, ни у трезвых. Агафью будто коршило от взгляда мужа. Она шла то из zigzagами, то топтаясь на одном месте, подгибая

ногами и разводя руками, то пяткалась назад. Пройди шагов сто, она оглянулась еще раз и скрылась.

— Ты бы хоть за куст спрятался... — сказал я Савке. — Неравно тебя уку увидит...

— Одно без того знает, от кого это Агапка идет... На огород по почам бабы не за капустой хотят — всем известно.

Я взглянул на лицо Савки. Оно было бледно и морщилось бреагливою язваю, какая бывает у людей, когда они видят изучимых животных.

— Кошке смех, мыши слезы... — задохнулся он.

Агафья вдруг вскочила, мотнула головой и смелою походкой направилась к мужу. Она, видимо, собралась с силами и решалась.

1886.

ВОЛК.

Помещик Нилов, плотный, крепкий мужчина, славящийся на всю губернию своей необыкновенною физической силой, и следователь Куприянов, возвращались однажды вечером с охоты, завернули на мельницу к старину Максиму. До усадьбы Нилова оставалось только две версты, но охотники так утомились, что итти дальше не захотели и поршили сделать на мельнице пролонгательный привал. Это решение имело тем больший смысл, что у Максима водились чай и сахар, а при охотниках имелся приличный запас водки, коньяку и разной домашней еды.

После закуски охотники принялись за чай и разговорились.

— Что новеньского, дед? — обратился Нилов к Максиму.

— Что новеньского? — усмехнулся старик. — А то новеньского, что собираюсь у вашей милости ружьем попросить...

— На что тебе ружье?

— Чего-о? Оно, пожалуй, хоть и не надо. Я ведь это только так спрашиваю, для пущей важности... Все равно стрелять не вижу. Шут его знает, откуда бешеный волк взялся. Второй уже день, как тут бегает... Вчера в вечеру около деревни искребенка и двух собак зарезал, а нынче чуть свет выхажу и, а он, проклятый, сидит под веткой и бьет себя лапой по морде. Я на него — «стю!», а он глядит на меня, как нечистая сила... И в него камнем, а он заклацкал зубами, засвистил очами, как свечными, и подался к окошку узлеску... Испугался я до смерти.

— Чорт знает что... — пробормотал следователь. — Бешеный волк бегает, а мы тут шутаем...

— Ну, так что же? Ведь мы с ружьями.

— Не станте же вы стрелять в водка дробью...

— Зачем стрелять? Можно просто прикладом уложить.

И Нилов стал доказывать, что нет ничего легче, как убить волка прикладом, и рассказывал один случай, когда он одним уда-

ром обыкновенной трости уложил на месте напавшую на него большую бешеную собаку.

— Вам хорошо рассуждать! — вздохнул следователь, с заинством посыпав на его широкие плечи. — Силища у вас — слава тебе господи, на десятерых хватит. Не то, что тростью, вы и пальцем собаку уложите. Простой же смертный пока собирается поднять палку, да пока наметит место, по которому ударить, да пока что, собака успеет его раз пять укусить. Неприятная история... Нет болезни мучительнее и ужаснее, как водобоязнь. Когда мне впервые довелось увидеть бешеного человека, я днем пять потом ходил, как шальной, и возиспалел тогда всех в мире собакников и собак. Во-первых, ужасна эта скоропостижность, беспромятность болезни... Идет человек здоровый, покойный, ни о чем не думает, и вдруг ни с того, ни с сего — цап его бешеная собака! Человек моментально овладевает ужасная мысль, что он погиб безвозратно, что нет спасения... За сию минуту себе вообразить томительное, гнетущее ожидание болезни, не оставляющее укушенного ни на минуту. За ожиданием следует сама болезнь... Ужаснее несчастья, что эта болезнь неизлечима. Уж коли заболел, то пиши пропало. В медицине, насколько мне известно, нет даже намека на возможность излечения.

— А у нас на деревне лечат, барин! — сказал Максим. — Мирон кого угодно вылечит.

— Чепуха... — вздохнул Нилов. — Насчет Мирона все это одни только разговоры. Прошлым летом на деревне Стешку покусала собака и никакие Мироны не помогли... Как ни помчи его всякою дрянью, а все-таки забесился. Нет, дедуся, ни черта не поделаешь. Случишь со мною такую окажиши, укуси меня бешеная собака, и бы себе пулю пустил в лоб.

Страшные рассказы о водобоязни имели свое действие. Охотники постепенно умолкли и продолжали пить молча. Каждый извольно задумался о роковой зависимости жизни и счаствия человека от случайностей и пустынь, повидимому, ничтожных, не стольких, как говорится, яйца вымеченного. Всем стало скучно и грустно.

После чаю Нилов потянулся и встал. Ему захотелось выйти наружу. Походив немного около задромов, он отворил маленькую дверцу и вышел. На дворе давно уже кончились сумерки и наступал настоящий вечер. От реки веяло тихим, непробудным сном.

На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени; на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки. Два колеса мельницы, наполовину спрятавшиеся в тени широкой нивы, глядела озердито, уныло...

Нилов вздохнул всей грудью и взглянул на реку. Ничто не двигалось. Вода и берега спали, даже рыба не плескалась... Но вдруг Нилову показалось, что на том берегу, помимо кустов ивняка, что-то похожее на тень прокатилось черным шаром.

Он прищурил глаза. Тень исчезла, но скоро опять показалась и зигзагами початилась к плотине.

«Волк!» — вспомнил Нилов.

Но прежде, чем в голове его мелькнула мысль о том, что нужно бежать назад, в мельницу, темный шар уже катился по плотине, не прямо на Нилова, а зигзагами.

«Если я побегу, то он нападет на меня сзади, — сообразил Нилов, чувствуя, как на голове у него под волосами леденеет кожа. — Боже мой, даже палки нет! Ну, буду стоять и... и задушу его!»

И Нилов стал внимательно следить за движениями волка и за выражением его фигуры. Волк бежал по краю плотины, уже поровнялся с ним...

«Он мимо бежит!» — подумал Нилов, не спуская с него глаз.

Но в это время волк, не глядя на него и будто нехотя, издал жалобный, скрипучий звук, повернулся к нему морду и остановился. Он точно сообразил: напасть или пренебречь?

«Ударить по голове кулаком... — думал Нилов. — Ошломить...»

Нилов так растерялся, что не понял, что первый начал борьбу: он, или волк? Он только понял, что настал какой-то особенно страшный, критический момент, когда понадобилось сосредоточить всю силу в правой руке и схватить волка за шею около затылка. Тут произошло нечто необыкновенное, чему трудно поверить и что самому Нилову казалось сном. Сжатенный волк исподобно зарычал и рванулся с такой силой, что складка кончи, холодная и мокрая, скатая рукою Нилова, вискальзила между пальцами. Волк, стараясь высвободить свой затылок, поднялся на задние лапы. Тогда Нилов левой рукой схватил его за правую лапу, сжал ее у самой подмышки, потом быстро отнял свою правую руку от затылка волка и, сжавши ее левую подмышку, поднял волка на воздух. Все это было делом одного мгновения. Чтобы волк не укусил его за руки и чтобы не дать его голове ворочаться, Нилов большие пальцы обеих рук вошли в его шею около ключиц, словно шпоры. Волк уперся лапами в его плечи и, получив таким образом точку опоры, затрепетал со страшной силой. Укусить руки Нилова до локтя он не мог, противнуть же морду к лицу и плачам ему мешали пальцы, давившие его шею и причинявшие ему сильную боль...

«Скверно! — думал Нилов, оттагивая возможно дальше назад свою голову. — Слюна его попала мне на губу. Стало быть, все равно уже пропал, даже если и набавлюсь от него каким-нибудь чудом!»

— Ко мне! — закричал он. — Максим! Ко мне!

Оба, Нилов и волк, головы которых были на одном уровне, глядела в глаза друг другу... Волк щелкал зубами, издавая скрипучие звуки и брыгал... Задние лапы его, ища споры, ерзали

по коленям Нилова... В глазах светилась луна, но не видно было ничего, похожего на злобу; они блекли и походили на человеческие.

— Ко мне! — закричал еще раз Нилов, — Максим!

Но на мельнице его не слышали. Он инстинктивно чувствовал, что от громкого крика может убить его сила, а потому кричал не громко.

«Буду пятиться назад... — решил он. — Дойду задом до хвоста и там прикончу».

Он начал пятиться, но не прошел двух аршин, как почувствовал, что его правая рука слабеет и отекает. Затем вскоре наступил момент, когда он услышал свой собственный, душу раздирающий крик и почувствовал острую боль в правом плече и влажную теплоту, разливавшуюся вдруг по всей руке и по груди. Затем он услыхал голос Максима, понял выражение ужаса на лице пребывавшего следователя...

Выступил он на руки своего врага, когда у него насыщенно уже размазали пальцы и домазали ему, что волк убит. Отуманенный сильными ощущениями, чувствуя уже кровь на бедрах и в правом плече, блиняя и обмороку, вернулся он на мельницу. Огонь, вид самовара и бутылок привели его в чувство и напомнили ему все только-что перенесенные им ужасы и опасность, которая для него только-что еще начиналась. Бледный, с широкими зрачками и с мокрой головой он сел на мешки и в изнеможении опустил руки. Следователь и Максим раздели его и занялись раной. Рана оказалась солидной. Волк порвал кожу на всем плече и троцул даже мускулы.

— Отчего вы не бросили его в реку? — возмущался бледный следователь, останавливая кровотечение. — Отчего в реку вы его не бросили?

— Не догадался! Боже мой, не догадался!

Следователь начал было утешать и обнадеживать, но после тех густых красок, на которые он был так щедр, когда раньше окрасил водобоязнь, всякие утешительные речи были бы неуместны, а потому он почел за лучшее молчать. Перевязавши ноги как рану, он послал Максима в усадьбу за лошадьми, но Нилов не стал дожидаться экипажа и пошел домой пешком.

Утром часов в шесть он, бледный, непричесанный, похудевший от боли и бессонной ночи, приехал на мельницу.

— Дед, — обратился он к Максиму, — вези меня к Мирону! Скорей! Идем, сядись в коляску!

Максим, тоже бледный и не спавший всю ночь, сконфузился, несколько раз оглянулся и сказал шепотом:

— Не надо, барин, к Мирону ехать... И я, павлините, лечить учен.

— Хорошо, только скорее, покалуйста!

И Нилов нетерпеливо затопал ногами. Старик поставил его лицом к востоку, пронзителем что-то и дал ему хлебнуть из

кружки какой-то противной, теплой жидкости с полынным вкусом.

— А Степка умер... — пробормотал Нилов. — Депутаты, что у народа есть средства, но... но почему же Степка умер? Ты все-таки свези меня к Мирону!

От Мирона, которому он не верил, он поехал в больницу к Озчинникову. Получив здесь пилюли из белладонны и совет лечь в постель, он переменил лошадей и, не обращая внимания на страшную боль в руке, поехал в город, к городским докторам.

Дня через четыре, поздно вечером он вбежал к Озчинникову и понадеялся на диван.

— Доктор! — начал он, задыхаясь и вытирая рукавом пот с бледного, похудевшего лица. — Григорий Иваныч! Делайте со мной, что хотите, но дальше оставаться я так не могу! Или лечите меня, или отравите, а так не оставляйте! Бога ради! Я сошел с ума!

— Вам нужно лечь в постель, — сказал Озчинников.

— Ах, подите вы с вашим лекарством! Я вас спрашиваю толком, русским языком: что мне делать? Вы врач и должны мне помочь! Я страдаю! Каждую минуту мне кажется, что я начинаю беспиться. Я не сплю, не ем, дело валится у меня из рук! У меня вот револьвер в кармане. Я каждую минуту его вынимаю, чтобы пустить себе пулю в лоб! Григорий Иваныч, ну, да займитесь же мною бога ради! Что мне делать? Вот что, не позжать ли мне к профессорам?

— Это все равно. Посажайте, если хотите.

— Послушайте, а если я, положим, объявлю конкурс, что если кто вылечит, то получит пятьдесят тысяч? Как вы думаете, а? Впрочем, пока напечатаешь, пока... то успеешь раз десять избежаться. Я готов теперь все состояние отдать! Вылечите меня, и я дам вам пятьдесят тысяч! Займитесь же ради бога! Не понимаю этого возмутительного равнодушия! Поймите, что я теперь каждой муке завидую... я несчастлив! Семья моя несчастна!

У Нилова затряслись плечи, и он заплакал.

— Послушайте, — начал утешать его Озчинников. — Я отчасти не понимаю этого вашего возбужденного состояния. Что вы плачете? И зачем так преувеличивать опасность? Поймите, ведь у вас гораздо больше шансов не заболеть, чем заболеть. Во-первых, из ста укушенных заболевает только тридцать. Потом, что очень важно, волккусал вас через одежду, значит, яд остался на одежде. Если же в рану попал яд, то он должен был вытечь с изрвию, так как у вас было сильное кровотечение. Относительно водобоя: я совершил покос, а если меня и беспоконт что-нибудь, так это только рана. При вашей небрежности легко может приключиться рожа или что-нибудь в роде.

— Вы думаете? Утешаете вы или серьеэно?

— Честное слово, серьеэно. Возьмите-ка, почитайте!

Озчинников взял с полки книгу и, пропуская страшные места, стал читать Нилову главу о водобоях.

— Стало-быть, вы напрасно беспокоитесь, — сказал он, кончив чтение. — Ко всему этому прибавьте еще, что нам с вами щищвестно, был ли то бешеный волк или злодой.

— М-да... — согласился Нилов, улыбаясь. — Теперь понятно, конечно. Стало-быть, все это чепуха!

— Радумеется, чепуха.

— Ну, спасибо, родной... — засмеялся Нилов, весело потирая руки. — Теперь, умница вы этакий, я поклон... Я довolen и даже счастлив, ей-богу... Нет, честное слово... даже.

Нилов обнял Озчинникова и поцеловал его три раза. Потом на него напал мальчишеский задор, и которому так склонны добродушные, физически сильные люди. Он схватил со стола подкову и хотел ее разогнуть, но, обессилен от радости и от боли в плече, он ничего не мог сделать; ограничился только тем, что обнял доктора левой рукой ниже талии, поднял его и пронес на плече из кабинета в столовую. Вышел он от Озчинникова веселый, радостный, и казалось даже, что с ним вместе радовались и слезники, блестевшие на его широкой, черной бороде. Стускаясь вина по ступеням, он засмеялся басом и потряс перило крыльца с такой силой, что одна балustrада выскоцила, все крыльце затрепало под ногами Озчинникова.

«Какой богатырь! — думал Озчинников, с умилением глядя на его большую спину. — Какой молодец!»

Севши в козырку, Нилов опять стал с самого начала и с большими подробностями рассказывать о том, как он на плотине боролся с гоем.

— Была игра! — кончил он, весело смеясь. — Будет о чем вспомнить в старости. Погоня, Тришка!

1886.

В ПАРИЖ!

Секретарь земской управы Грязнов и учитель уездного училища Лампадкин однажды под вечер возвращались с имением полицейского надзирателя Волючинина. Иди под руку, они вместе очень походили на бунту «Ю». Грязнов тонок, высок и худощав, одет в обтяжку и похож на палку, а Лампадкин толст, мясист, одет во все широкое и напоминает поль. Оба были извеселе и слегка пошатывались.

— Рекомендована новая грамматика Грота, — бормотал Лампадкин, всхлипывая своими полными грязи ноздрями. — Грот доказывает ту твюю, что имена прилагательные в родительном падеже единственного числа мужского рода имеют не а го, а ого... Вот тут и понимай! Вчера Перхотина без обеда за ого в слове золотого оставил, а звятра, значит, должен буду перед ним глазами лупать... Стыд! Срам!

Но Грязнов не слушал ученых разговоров педагога. Все его внимание было обращено на грязный мостик перед трактиром Ширгеса, где на этот раз происходило маленькое недоразумение. Дюжинны две обывательских собак, сомкнувшись цепью, окружали черную, шершавую дворняжку и наполняли воздух притяжным, победным лаем. Дворняжка вертелась, как на иголках, скрипела на врагов зубы и старалась поднести как можно дальше под живот свой ощипанный хвост. Случай не ванный, но секретарь управы принаследил к числу тех военпримчивых, легко воспоминающих интуиции, которые не могут равнодушно лицезреть, если кто соится или дерется. Поровнявшись с группой собак, он не утерпел, чтобы не вмешаться.

— Рви его! Куси, анафему! Фюльть! — начал он рычать и подсистывать, примыкая к собачьей цепи. — Ррр... Так его! Жарь!

И, чтобы еще больше раззадорить собак, он нагнулся и дернул дворняжку за заднюю ногу. Та взвыла и, прежде чем Грязнов успел поднять руку, укусила его за палец. Тотчас же, словно испугавшись своей смелости, она перепрыгнула через цепь, мимоходом цапнула Лампадкина за икру и побежала идоль по улице. Собаки за неё...

— Ах, ты, шут! — закричал ей вслед Грязнов, потрясая пальцем. — Чтоб тебя раздавило, чортова тварь! Лови! Бей!

— Лови! — раздались голоса, мешаясь со свистками. — Гони! Бей! Братцы, бешеная! Хвост поджала и морду винз держит! Самая она и есть бешеная! Тю!

Приятели дождались, когда собаки скрылись из виду, вились под руки и пошли дальше. Придя домой (педагог за 7 руб. в месяц жил и становился у секретаря), они уже забыли историю с дворняжкой... Сняв грязные брюки и развесив их для просушки на дверях, они занялись чаепитием. Настроение духа у обоих было отменное, философски-благодушное... Но часа через полтора, когда они с теткой, сволочницей и с четырьмя сестрами Грязнова сидели за столом и играли в фофана, вдруг неожиданно явился уездный врач Каташкин и несколько нарушил их покой.

— Ничего, ничего... я не дама! — начал пришедший, видя, как секретарь и педагог стараются скрыть под столом свои невыразимые и босые ноги. — Меня, господа, к вам прислали! Говорят, что вас обоих укусила собака!

— Как же, как же... укусила, — сказал Грязнов, ухмыльнувшись лицо. — Очень приятно! Садитесь, Митрий Фомич! Давно не видались, побей меня бог... Чую не хотите ли? Глаша, водочки принеси! Вы чем закусывать будете: редиской или колбасой?

— Говорят, что собака бешеная! — продолжал доктор, встревоженно глядя на приятелей. — Бешеная она или нет, но все-таки нельзя относиться так небрежно. Чем чорт не шутит? Показательно, где она вас укусила?

— А, да наппойте! — машинально ухватил рукой секретарь. — Укусила чуть-чуть... за палец... От этого не сбесишься... Может, вы пиво пить будете? Глашка, беги к индюшке и скажи, чтоб в долг два бутылки пива дала!

Каташкин сел и, исподволь у него хватало силы перекричать пьяных, начал пугать их водобоязнью... Те сначала ломались и бравировали, но потом струсили и показали ему укунченные места. Доктор осмотрел раны, прикинг их линием и ушел. После этого приятели легли спать и долго спорили о том, из чего делается пиво.

На другой день утром Грязнов сидел на самой верхушке яблоневого тополя и прививал там скворечнико. Лампадкин стоял внизу под деревом и деркал молоток и веревочки. Садик секретари был еще весь в снегу, но от каждой веточки и мокрой коры деревьев так и веяло весной.

— Грох доказывает еще ту теорию, — бормотал педагог, — что ворота не среднего рода, а музыкального. Гм... Значит, писать нужно не красные ворота, а красные... Ну, это пусть он облизнет! Скорей в отставку подам, чем изменю на счет ворот своих убеждений.

И педагог раскрыл уже рот и величественно поднял вверх молоток, чтобы начать громить ученых академиков, как в это время спирнула соловая налитка, и в сад неизданию-негаданно, словно чорт из люка, вошел уездный предводитель Позвоночников. Увидав его, Лампадкин от изумления побледнел и выронил молоток.

— Здравствуйте, милейший! — обратился к нему предводитель. — Ну, как ваше здоровье? Говорят, что вас и Грязнова ичера бешеная собака искусила!

— Может, она вовсе не бешеная, — пробормотал с верхушки тополя Грязнов. — Одни только бабы разговоры!

— Может быть, а может быть, и бешеная! — сказал предводитель. — Так, ведь, нельзя рассуждать... На всякий случай нужно принять меры!

— Какие же меры? — тихо спросил педагог. — Нас ичера прилигали-с!

— Сейчас мне говорил доктор, но этого недостаточно. Нужно что-нибудь более радикальное. В Париж бы ехали, что ли... Да так, вероятно, и придется вам сделать: езжайте в Париж!

Педагог выронил веревочки и окаменел, а секретарь от удивления еле не свалился с дерева...

— В Париж? — протянул он. — Да что и там буду делать?

— Вы поедете к Пастеру... Конечно, это немножко дорого будет стоить, — но что делать? Здоровье и жизнь дороже... И мы успокоимся, да и мы будем понойны... Я сейчас говорил с председателем Иваном Алексеевичем. Он думает, что управа даст вам на дорогу... С своей стороны моя жена вынуждает вам двести руб-

лей... Что же вам еще нужно? Собирайтесь! А пачпорты я быстро вам выхлопочу...

— Сбесились чудаки! — ухмыльнулся Грязнов по уходе предводителя. — В Париж! Ах, дурни, прости господа! Добро бы еще в Москву или в Киев, а то — на тебе!.. в Париж! И из-за чего? Хоть бы собака путевая, породистая какая, а то из-за дворянки — тыфу! Сложи на милость, наших аристократов нашел: в Париж! Чтоб я пропал, ежели поеду!

Педагог долго в раздумья глядел на землю, потом весело заржал и сказал вдохновенным голосом:

— Знаешь, что, Вася? Поедем! Накажи меня господь, поедем! Ведь Париж, заграница... Европа!

— Чего я там не видел? Ну его!

— Цивилизация! — продолжал восторгаться Лампадин. — Господи, какая цивилизация! Виды эти, разные Везувии... окрестности! Что ни шаг, то и окрестности! Ей-богу, поедем!

— Да ты очумел, Ильинка! Что мы там с немцами делать будем?

— Там не немцы, а французы!

— Один шут! Что я с ними буду делать? На них глядючи, и со смеху окозлю! При моем характере и их всех там перебью! Пославай только, так сам не рад будешь.. И оберут, и оскорблюсь... А еще, чего доброго, вместо Парижа попадешь в такую поганую страну, что потом лет пять плевать будешь...

Грязнов наотрез отказался ехать, но тем не менее вечером того же дня приятели ходили, обливаясь, по городу и рассказывали встречным о предстоящей поездке. Секретарь был угрюм, зол и беспомощен, педагог же восторженно размахивал руками и искал, с кем бы поделиться своим счастьем...

— Все бы ничего, коли б не этот Париж! — утешал себя вслух Грязнов. — Не жизнь, а малина! Все жалостно на тебя смотрят, вееде, куда ни придешь, закуска и выпивка, все деньги дают, но... Париж! За каким шутом я туда поеду? Прошай, братьцы! — останавливал он встречных. — В Париж едем! Не поминай ляхом! Может, и не увидимся больше.

Через пять дней на местной станции происходили торжественные проводы секретаря и педагога. Провожать собрались все интеллигенты, начиная с предводителя и кончая подследователем пасынком надзирателя Волочинина. Предводительша снабдила путешественников двумя рекомендательными письмами, а милюха дала им сто рублей с просьбой купить по образчику материи... Благопожеланиям, вдохнам и стечанием конца не было. Тетка, своячница и четыре сестры Грязнова разливались в три ручья. Педагог, видимо, храбрился и не унывал, секретарь же, выпивший и расчувствовавшийся, все время надувался, чтобы не западать... Когда пробил второй звонок, он не вынес и разревелся...

— Не поеду! — рванулся он от вагона. — Пусть лучше сбешусь, чем и пастору ехать! Ну его!

Но его убедили, утешили и посадили в вагон. Поезд тронулся...

Если держаться строго хронологического порядка, то не дальше, как через четыре дня после проводов, сестры Грязнова, сидя у блюшка и тоскун, увидели вдруг идущего домой Лампадинина. Педагог был ирасен, выпачкан в грязи и то и дело ронял свой чемодан. Сначала девицы думали, что это привидение, но скоро, когда ступнула калитка и послышалось из сени знакомое сопение, явление потеряло свой спиритический характер. Сестры замерли от удивления и, вместо вопроса, обратили к пришедшему свои вытянувшиеся, побледневшие лица. Педагог замигал глазами и махнул рукой, потом заплакал и еще раз махнул рукой.

— Приехали это мы в Курск... — начал он, хрюнуло плача. — Вася мне и говорит: «На вокзале, говорит, дорого обедать, а пойдем, говорит, тут около вокзала трактир есть. Там и пообедаем». Мы взяли с собой чемоданы и пошли (педагог всхлипнул)... А в трактире Вася рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой... «Ты, кричит, меня на погребль везешь! Шуметь начал... А как после водки херес стал пить, то... протокол составили. Дальше — больше и... все до копейки! Еле на дорогу осталось...

— Где же Вася? — встревожились девицы.

— В Курск... Курск... Просил, чтоб мы ему скорей на дорогу денег высыпали.

Педагог мотнул головой, утер лицо и добавил:

— А Курск хороший город! Очень хороший! С удовольствием там день проижил...

1886.

ВЕСНОЙ.

С земли еще не сошел снег, а в лугу уже просится весна. Если вы когда-нибудь выздоравливали от тяжелой болезни, то вам известно блаженное состояние, когда замрещешь от смутных предчувствий и улыбаешься без всякой гримасы. Позднимому, такое же состояние переживает теперь и природа. Земля холодна, трава со снегом хлюпает под ногами, но как кругом все весело, ласково, приветливо! Воз дух так ясен и прозрачен, что если приобрести на голубятню или на колонольню, то, кажется, увидишь всю вселенную от ирая до ирая. Солнце светит ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, купаются в лужах вместе с воробышками. Речка надувается и темнеет; она уже проснулась и не сегодня завтра заревет. Деревья гоны, но уже живут, дышат.

В такое время хорошо гнать мелкой или лопатой грязную воду в канавах, пускать по воде кораблики, или долбить наблюданными упрямый лед. Хорошо также гонять голубей под самую

высь поднебесную, или лазить на деревья и привозить там скворечник. Да, все хорошо в это счастливое время года — в особенности, если вы молоды, любите природу, и если вы не непримечательны, не истеричны, и если по службе не обязаны сидеть в четырех стенах с утра до вечера. Не хорошо, если вы больны, если чахнете в юношеской, если занятесь с музами.

Да, весна не следует заняться с музами.

Вы поглядите, как хорошо, как сплошь чувствуют себя обыкновенные люди. Вот садовник Пантелеев Петрович спозаранку нарядился в широкополую, соломенную шляпу и никак не может расстаться с маленьким сигарным окурком, который он поднял еще утром из аллеи: он стоит подбоченясь, перед кухонным окном и рассказывает повару, какие он вчера купил себе сапоги. Всю его длинная и узкая фигура, за которую его все дворня зовут «стрицем», выражает самодовольство и достоинство. На прищуре глядит он с сознанием своего превосходства надней, и во взгляде у него что-то хозяйственное, победительное и даже пророческое, точно, сидя у себя там в оранжереи, или копаясь в саду, он умнал про растительное царство что-то такое, чего не знает никто.

Было бы напраско толковать ему, что природа величественна, грозна и полна чудесных чар, перед которыми должен склонить свою шею гордый человек. Ему кажется, что он знает все, все тайны, чера и чудеса, а прекрасная весна для него такая же рабыня, как та узогрудая, исхудалая женщина, которая сидит в пристройке около оранжерии и кормит постными щами его детей.

А охотник Иван Захороз? Этот в потрепанной, дрябловой куртке и в налонах на беду ногу, сидит около конюшни на опрокинутом бочонке и делает из старых пробок пыни. Он собирается на тягу. В его воображении рисуется тут, по которому он пойдет, со всеми тропинками, вожжами, рульями; взиря в глаза, он видит длинный, прямой ряд высоких стройных деревьев, под которыми он будет стоять с ружьем, дрожа от вечерней прохлады, от сладкого волнения и на грех свою тошную слух; ему чудится звуки, которые издает харкающий вальдшнеп; он уже слышит, как в монастыре, по соседству, после всенощной, пока он стоит на тяге, трезвонят во все колокола... Ему хорошо, он бессмертно, бестолково счастлив.

Но теперь поглядите на Макара Денисича, молодого человека, который служит у генерала Стремоухова не то писарем, не то младшим унтер-офицером. Он получает вдвое больше, чем садовник, носит белые манишки, курит двухрублевый табак, всегда съет и одет и всегда при встрече с генералом имеет удовольствие познамат белую, пухлую руку с крупным брильянтовым перстнем, но, тем не менее, все-таки, как он несчастлив! Вечно он с книжками, выписывает он из двадцать пять рублей журналов и пишет, пишет... Пишет он каждый вечер, писает после обеда, когда все спят, и все написанное прячет в свой большой

сундук. В этом «улуве», на самом дне лежат аккуратно сложенные броши и кильеты; на них еще не распечатанная пачка табаку, десяток коробочек из-под пильоль, пущевый шарфчик, кусок глицеринового мыла в желтой обертке и много всячного другого добра, а по краям сундука робко жмутся стопки исписанной бумаги, и тут же два-три номера «Нашей губернии», где напечатаны рассказы и корреспонденции Макара Денисича. Весь уезд считает его литератором, поэтом, все видят в нем что-то особенное, не любят его, говорят, что он не так говорит, не так ходит, не так курит, и сам он одинажды на мировом съезде, куда был вызван в качестве свидетеля, проговорился некстати, что занимается литературой, причем покраснел так, как будто упал курицу.

Вот он, в синем пальто, в плюшевой шапочке и с тросточкой в руке, тихо идет по аллее... Сделает шагов пять, остановится и уставит глаза в небо, или на старого грача, который сидит на «ели».

Садовник стоит, подбоченясь, на лице у охотника написана строгость, а Макар Денисич соглашается, робко кашляет и кисло смотрит, точно весна дает и душит его своими испарениями, своей красотой!. Душа его полна робости. Вместо восторгов, радости и надежд, весна пороняет в нем только какие-то смутные желания, которые тревожат его, и вот он ходит и сам не разберет, что ему нужно. В самом деле, что ему нужно?

— А, здоровья! — слышит он вдруг голос генерала Стремоухова. — Что, еще не приезжали с почты?

— Нет еще, ваше превосходительство, — отвечает Макар Денисич, оглядывая коляску, в которой сидит здоровый, веселый генерал со своей маленькой дочкой.

— Чудесная погода! Совсем весна! — говорит генерал. — А вы гуашете? Чай, вдохновляйтесь?

А в глазах у него написано:

«Бездарность! Постредственность!»

— Ах, батенька! — говорит генерал, берясь за волосы. — Какую прекрасную штуку я пропел сегодня за кофе! Пустячок, в две странички, но канап прелест! Жаль, что вы не владеете французским языком, я дал бы вам почитать...

Генерал вскоре, пятно через десятое, рассказывает содержание прочитанного им рассказа, а Макар Денисич слушает и чувствует неловкость, словно его вина в том, что он не французский писатель, который пишет маленькие штучки.

«Не понимаю, что он там нашел хорошего? — думает он, гляди вперед исчезающей коляске. — Содержание пошлое, избитое... Моя рассказы гораздо содержательнее».

И Макар начинает сосать червь. Авторское самолюбие — это боль, это катар души; что болеет им, тому уже не слышно пения птиц, не видно блеска солнца, не видно весны... Нужно лишь чуть-чуть прикоснуться к этой боли, чтобы сжался болезненно весь организм. Отравленный Макар идет дальше

и через садовую воротку выходит на грязную дорогу. Тут, подпрыгивая всем телом на высокой бричке, спешит куда-то господин Бубенцов.

— А, господину писателю! — притчит он. — Наше вам!

Будь Макар Денисович только писарем, или младшим управляющим, то никто бы не посмел говорить с ним таким смиренным, небрежным тоном, но он «писатель», он бездарность, посредственность!

Такие, как господин Бубенцов, ничего не понимают в искусстве и мало интересуются им, но зато, когда им приходится встречаться с бездарностями и посредственными, то они неумолимы, беспалостны. Они готовы простить кого угодно, но только не Макара, этого неудачника-чудака, у которого в сундуке лежат рукоюши. Садовник сломал старый фикус и огнил много других растений, генерал ничего не делает и проедает чужое, господин Бубенцов, когда был мировым судьей, разбирал дела только раз в месяц и, разбирая, засиживался, путал законы и нес чепуху, но все это прощается, не замечается; но не заметить и пройти молчанием мимо бездарного Макара, пишущего неважные стихи и рассказы, никак нельзя, не сказав чего-нибудь обидного. Что своячница генерала бьет горничных по щекам и бранится за картами, как прачка, что попадья никогда не платит проигрыша, что помещик Флагин украл у помещика Сибирякова собаку, никому до этого дела нет, по то, что недавно из «Нашей губернии» возвратили Макару плохой рассказ, известно всему уезду и вызывает смешки, длиные разговоры, негодование, и Макара Денисовича уже называют Макаркой.

Если кто не так пишет, то не стараются объяснить, почему это «не так», а просто говорят:

— Опять этот сукин сын чепуху написал!

Наслаждаться весной мешает Макару мысль, что его не понимают, не хотят и не могут понять. Ему почему-то кажется, что если бы его поняли, то все было бы прекрасно. Но как могут понять, талантлив он или нет, если во всем уезде никто ничего не читает, или читает так, что лучше бы совсем не читать. Как втолковать генералу Стремоухову, что та французская штучка ничтожна, плоска, банальна, избитта, как втолковать ему, если он, кроме таких плоских штук, никогда не читал ничего другого?

А как раздражают Макара испанцы!

— Ах, Макар Денисович! — говорят они ему обыкновенно. — Как жаль, что вас сегодня не было из базар! Если бы вы видели, как смешно пролились два мужика, вы изверно бы описали!

Все это, конечно, пустяки, и философ не обратил бы внимания, пренебрег бы, но Макар чувствует себя, как на угольях. Душа его полна чувства одиночества, сиротства, тоски, той самой тоски, которую испытывают только очень одинокие люди и беспыльные грешники. Никогда, ни разу в жизни он не стоял так подбочинясь, как стоит садовник. Изредка разве, этак раз в пять

лет, встретившись где-нибудь в лесу, или на дороге, или в вагоне с таким же неудачником-чудаком, как он сам, и заглянув ему в глаза, он вдруг оживет из минутки, оживет и тот. Они долго говорят, спорят, восхищаются, восторгаются, хохочут, так что, со стороны гляди, их обоих можно принять за безумных.

Но обыкновенно эти редкие минуты не обходятся без отравы. Словно из смеха, Макар и неудачник, с которым он встретился, отрицают друг в друге таланты, не гневят друг друга, завидуют, испытывают, раздражаются, расходятся врагами. Так и называется, тает их молодость без радостей, без любви и дружбы, без душевного покоя и без всего того, что так любит описывать по вечерам в минуты вдохновения угрюмый Макар.

А с молодостью проходит и весна.

1885.

МНОГО БУМАГИ.

(Архивное изыскание.)

«Писю честь покорнейше заявить 8-го сего декабря замечена болезнь на духах мальчиках, которые ребята пришедши объявили что в школе и прочими ребятах хворают глоткой жар и по всему телу сыпь, ходят они в Жаровскую земскую школу. Ноября 19-го дня 1885 г. Староста Ефим Кирилов».

«М. В. Д. Н.—ская Уездная Земская управа. Земскому Врачу Г. Радушному. Вследствие заявления старосты села Курносова от 19-го ноября, предлагаю Вам, м. г., отправиться в Курносово и озабочиться по правилам и уки о скорейшем прекращении эпидемии болезни, по всем признакам, скарлатинам. Из названного заявления явствует, что заболевания начались в Жаровской школе, на какую и прошу обратить внимание. 4-го декабря 1885 г. За градусетеля: С. Перкин».

«Г. Приставу 2-го стана №—ского уезда. Вследствие отношения уездной земской управы за № 102 от 4-го декабря, которое при сем прилагаю, прошу Вас, м. г., сделать распоряжение о закрытии школы в селе Жарове непредо до прекращения скарлатиной эпидемии. 13-го декабря 1885 г. Земский врач Радушный».

«М. В. Д. Пристава 2-го стана №—ского уезда, № 1011. В Жаровском земском училище. Земский врач Г. Радушный 13-го декабря сего года сообщил мне, что в селе Жарове усмотрена им на детях эпидемия болезни скарлатины (или, как называют в народе, лифтерита). Во избежание проявления более грустных результатов от упомянутой болезни, которая прогрессивно увеличивается, и озабочившись необходимостью принять установленные законом меры к предупреждению и пресечению случаев развивающегося заболевания, я с своей стороны поставлен в необходимость покорнейше просить: не признаете ли вы возможным распустить учащихся в Жаровской земской школе до времени

совершенного прекращения свирепствующей болезни и о последующем уведомить меня для дальнейших распоряжений. Января 2-го дня 1886 года. Пристав Подгоринъ».

«В дирекцию народных училищ X-ской губернии. Г. Испектиру народных училищ. Учителю Жаровского училища Фортисского заявление. Честь имею довести до сведения Вашего Высокоблагородия, что вследствие отношения г. Пристава 2-го стана за № 1011 от 2-го января, появилась в селе Жарове эпидемия скарлатины, о чем имею честь Вас известить. 12-го января 1886 г. Учитель Фортисский».

«Г. Приставу 2-го стана N—ского уезда. В виду того, что скарлатинная эпидемия прекратилась уже месяц тому назад, и открытию временно закрытой школы в селе Жарове с моей стороны препятствий не имеется, о чем я уже два раза писал в управу, а теперь Вам пишу и покорнейше прошу обращаться вперед с вашими бумагами к уездному врачу, с меня же достаточно и одной земской управы. Я занят с утра до вечера и у меня нет времени отвечать на все Ваши канцелярские измышления. 26-го января. Земский врач Радуцкий».

«М. В. Д. Его Высокоблагородию Господину N—скому исправнику Пристава 2-го стана. Рапорт. Имею честь приводить при сем отношении г. Земского Врача Радуцкого от 26 января за № 31 на предмет рассмотрения Вашего Высокоблагородия о предании суду лекаря Радуцкого за неуместные и в высшей степени оскорбительные выражения, употребленные им в официальном-служебной бумаге, как-то: «как-то измыслил». Февраля 8-го дня 1886 г. Пристав Подгоринъ».

Из частного письма г. исправника к приставу 2-го стана: «Алексей Мануилович, возвращаю Вам Ваш Рапорт. Прекратите показуйста Ваша постоянные неудовольствия с доктором Радуцким. Такой антагонизм по меньшей мере и удобен в положении полицейского чиновника, обладающего блести в сношениях прежде всего талант и умеренность. Что касается бумаги Радуцкого, то не находу в ней ничего особенного. О скарлатине в с. Жарове я уже слышал и в ближайшем училищном совете доложу о неправильных действиях учителя Фортисского, которого считаю главным виновником всей этой неприятной переписки».

«М. Н. П. Испектор народных училищ X-ской губернии, № 810. Г. Учителю Жаровского училища. На представление Ваше от 12-го января этого года, поставляю Вас в известность, что уроки во вторник вам училище должны быть немедленно прекращены и ученики распущены в открытие дальнейшего распросрочки скарлатины. Февраля 22-го дня 1886 г. Испектор народных училищ И. Жилеткинъ».

По прочтении всех документов, относящихся к эпидемии в селе Жарове (а их, кроме здесь напечатанных, имеется еще двадцать восемь), читателю станет понятным многое из следующего описания, помещенного в № X-их Губернских Ведомостей:

... «поногти с чрезмерною детскою смертностью, перейдем теперь к более веселому и огрициальному. Вчера, в церкви св. Михаила Архистратига происходило торжественное бракосочетание дочери известного бумажного фабrikанта М. с потомственным почетным гражданином К. Венчание совершил протоиерей о. Клиопа Гоздев в сослужении с прочим соборным духовенством. Пел хор Красноярска. Оба молодые сияли красотой и молодостью. Говорят, что г. К. получает в приданое около миллиона и, кроме того, еще имение Благодушное с конским заводом и с оранжереями, в коих пропарстают ананасы и цветущие пальмы, переносящие ваше воображение далеко на юг. Молодые тотчас же после венца уехали за границу».

Как приятно быть бумажным фабrikантом!

1886.

КОШМАР.

Непременный член по крестьянским делам присутствия Кунин, молодой человек, лет тридцати, вернувшись из Петербурга в свое Борисово, послал первым делом верхового в Спинково за тамошним священником, отцом Яковом Смирновым.

Часов через пять отец Яков явился.

— Очень рад познакомиться! — встретил его в передней Кунин. — Уж год, как живу и слуху здесь, пора бы, кажется, быть знакомыми. Милости просим! Но, однако... какой вы молодой! — удивился Кунин. — Сколько вам лет?

— Двадцать восемь-с... — проговорил отец Яков, слабо понимая противную руку и, неизвестно отчего, краснея.

Кунин ввел гостя к себе в кабинет и принял его рассматривать.

«Какое аляповатое, бабье лицо! — подумал он.

Действительно, в лице отца Якова было очень много «бабьего»: так русый нос, крко-красные щеки и большие, серо-голубые глаза с искрами, одна заметная бровь. Длинные, рыжие волосы, сухие и гладкие, спускались на плечи прямими пальмами. Усы еще только начинали формироваться в настоящие, мужские усы, а борода приводила к тому сорту никаку негодных бород, который у семинадцати почему-то называется «сокотанико»: узкая, сильно просачивающаяся, погладить и почесать ее грязи нельзя, можно разве только выщипать... Вся эта скучная растительность скрыта и равномерно, кустиками, словно отец Яков, внутри выгрызаясь самим ником и начав придавать бороду, был грязи на пахоте дела. На нем была рубашка, чисто вымытого цыпчика кофе, с большими латками на обеих ластах.

«Странный субъект... — покусал Кунин глядя на его полы, открытые грязью. — Приходит в дом первый раз и не может подрагивать от страха».

— Садитесь, батюшка, — начал он более развязно, чем приветливо, придвиняя к столу кресло. — Садитесь же, прошу вас!

Отец Яков нахлопнул в кулак, неловко опустился на край кресла и положил ладони на колени. Малорослый, узкогрудый, с плотом и краской на лице, он из первых же порах пролез на Кунина самое неприятное впечатление. Ранее Кунин никак не мог думать, что на Руси есть такие несолидные и жалкие на вид священники, а в позе отца Якова, в этом дернании ладоней на коленях и в сидении из крещенки, ему виделось отсутствие достоинства и даже подхалимство.

— Я, батюшка, пригласил вас по делу... — начал Кунин, откинувшись на спинку кресла. — На мою долю выпала приятная обязанность помочь вам в одном ввшем полезном предприятии... Дело в том, что, вернувшись из Петербурга, я нашел у себя на столе письмо от предводителя. Егор Дмитриевич предлагает мне взять под свое попечительство церковно-приходскую школу, которая открывается у вас в Спилькове. Я, батюшка, очень рад, всей душой... Даже больше: я с восторгом принимаю это предложение!

Кунин поднялся и заходил по кабинету.

— Конечно, и Егору Дмитриевичу и, вероятно, вам известно, что большими средствами я не располагаю. Имение мое заложено, и живу я исключительно только на жалованье непременного члена. Стало быть, на большую помощь вы рассчитывать не можете, но что в моих силах, то я все сделаю... А когда, батюшка, думаете открыть школу?

— Когда будут деньги... — ответил отец Яков.

— Теперь же вы располагаете какими-нибудь средствами?

— Почти никакими-с... Мужики постановили на сходе платить ежегодно по тридцати копеек с каждой мужской души, но ведь это только обещание! А на первое обзаведение нужно, по крайней мере, рублей двести...

— М-да... К сожалению, у меня теперь нет этой суммы... — задохнулся Кунин. — В позднее я весь истратился и... задолжал даже. Давайте общими силами придумаем что-нибудь.

Кунин стал вслух придумывать. Он высказывал свои соображения и следил за лицом отца Якова,ща на них одобрения или согласия. Но лицо это было бесстрастно, неподвижно и ничего не выражало, кроме застенчивой робости и беспокойства. Глядя на него, можно было подумать, что Кунин говорил о таких мудрых вещах, которых отец Яков не понимал, слушал только из деликатности и притом боллся, чтобы его не уличили в напоминании.

«Малый, как видно, не из очень умных... — думал Кунин. — Не в меру робок и глуповат».

Несколько оживился и даже улыбнулся отец Яков только тогда, когда в кабинет вошел лакей и внес на подносе два стакана чая и сухаринку с крендельками. Он взял свой стакан и тотчас же пропился пять.

— Не знать ли нам преосвященному? — продолжал сообщать вслух Кунин. — Ведь, собственно говоря, не земство, не мы, а высшие духовные власти подняли вопрос о церковно-приходских школах. Они должны, по-настоящему, и средства указать. Мне помнится, я читал, что на этот счет даже была ассигнована сумма какая-то. Вам ничего неизвестно?

Отец Яков так погрузился в чаепитие, что не сразу ответил на этот вопрос. Он поднял на Кунина свои серо-голубые глаза, подумал и, точно вспомнив его вопрос, отрицательно мотнул головой. По некрасивому лицу его от уха до уха разливалось выражение удовольствия и самого обыденного, прозаического аппетита. Он пил и смаковал каждый глоток. Выпив все до последней капли, он поставил свой стакан на стол, потом взял назад этот стакан, оглядел его дно и опять поставил. Выражение удовольствия спало с лица... Далее Кунин видел, как его гость взял из сухаринки один крендель, откусил от него кусочек, потом повертел в руках и быстро сунул его себе в карман.

«Ну, уж это совсем не по-черепейски! — подумал Кунин, брезгливо пожимая плечами. — Что это, поповская жадность, или ребячество?»

Дав гостю выпить еще один стакан чаю и проводив его до передней, Кунин лег на софу и весь отддался непрятному чувству, изведенному из него посещением отца Якова.

«Какой странный, дикий человек! — думал он. — Грязен, неряха, груб, глуп и, наверное, пьяница... Боже мой, и это священник, духовный отец! Это учитель народа! Вообразя, сколько иронии должно быть в голосе дьякона, возглашающего ему перед каждой обедней: «Благослови, владыко! Хорош владыко! Владыко, не имеющий ни капли достоинства, невоспитанный, прятущий сухари в карманы, как школьник... Фи! Господи, в каком месте были глаза у архиепископа, когда он посвящал этого человека? За кого они народ считают, если дают ему таких учителей? Тут вужины люди, которые...»

И Кунин задумался о том, кого должны изображать из себя русские священники...

«Будь, например, я попом... Образованный и любящий свое дело поп много может сделать... У меня давно бы уже была открыта школа. А проповедь? Если поп искренен и вдохновлен любовью к своему делу, то какие чудные, захватывающие проповеди он может говорить!»

Кунин закрыл глаза и стал мысленно слагать проповедь. Немного погодя, он сидел за столом и быстро записывал.

«Дам тому рыхему, пусть прочтет в церкви...» — думал он.

В ближайшее воскресенье, утром, Кунин ехал в Спильково закончить с вопросом о школе и кстати познакомиться с церковью, приходом которой он считался. Несмотря на распутницу,

утро было великолепное. Солнце ярко светило и резало своими лучами кое-где белевшие пласти залежавшегося снега. Снег на прощанье с землей переливал тонами алмазами, что было было глядеть, а около него спешала зеленеть молодая овсянь. Грачи солидно иссились над землей. Летят грачи, опустите к земле и, прежде чем стать прочно на ноги, несколько раз подпрыгнет...

Деревянная церковь, к которой подъехал Кунин, была ветхая и серая; колонки у паперти, когда-то выкрашенные в белую краску, теперь совершенно облупились и походили на две некрасивые оглобли. Образ над дверью глядел сплошным, темным пятном. Но эта бедность тронула и умилила Кунина. Сиромпо опустив глаза, он вошел в церковь и остановился у двери. Служба еще только началась. Старый, в дугу согнувшись, дьячок глухим, нерааборчим тенором читал часы. Отец Яков, служивший без дьякона, ходил по церкви и кадил. Если бы не смирение, каким проникся Кунин, входя в иную церковь, то при виде отца Якова он непременно бы улыбнулся. На малорослом верее была помятая и длившаяся-предлиная риза из какой-то потертой желтой материи. Нижний край ризы волочился по земле.

Церковь была не полна. Кунина, при взгляде на прихожан, поразило на первых порах одно странное обстоятельство: он увидел только стариков и детей... Где же рабочий возраст? Где юность и мужество? Но, постояв немного и вглядевшись попристальней в старческие лица, Кунин увидел, что молодых он принял за старых. Впрочем, этому малецкому эптическому обману он не придал особого значения.

Внутри церкви была так же ветхая и серая, как и снаружи. На иконостасе и на бурых стенах не было ни одного мостечка, которого бы не закоптило и не исцарапало время. Окон было много, но общий номерат казался серым, и поэтому в церкви стояли сумерки.

«Кто чист душою, тому хорошо здесь молиться... — думал Кунин. — Как в Риме у св. Петра поражает величие, так здесь трогают эти смиренье и простота».

Но молитвенное настроение его рассеялось в дым, когда отец Яков вошел в алтарь и начал обедню. По молодости лет, попав в священники прямо с семинарской скамьи, отец Яков не успел еще усвоить себе определенную манеру служить. Читал, он как будто выбирал, на каком голосе ему остановиться, на высоком теноре, или идиоме басне; изливалась он неумело, ходил быстро, царские врата открывал и закрывал торопливо... Старый дьячок, очевидно больной и глухой, плохо слышал его возгласы, отчего не обходилось без маленьких недоразумений. Не успеет отец Яков прочесть, что нужно, а уж дьячок пост свое, или же отец Яков давно уже кончал, а старик тяжелым ухом в сторону алтаря, прислушивающийся и молчит, пока его не дернут за полу. У старика был глухой, болезненный голос, с омышкой, дрожащий и шепелящий... В довершение неблаголемия, дьячу подавивал очень

маленький мальчик, голова которого едва виднелась из-за перины клироса. Мальчик пел высоким изагливым дискантом и словно старался не попадать в тон. Кунин постоял немного, послушал и вышел покурить. Он был уже разочарован и почти с неприязнью глядел на другую церковь.

— Жалуются на падение в народе религиозного чувства... — подсказал он. — Еще бы! Они бы еще больше понасажали сюда таких, о ё!

Раза три потом входил Кунин в церковь, и всякий раз его сильно потягивало воин на свежий воздух. Дождавшись конца обедни, он отправился к отцу Якову. Дом священника снаружи ничем не отличался от крестьянских изб, только солома на крыше лежала ровнее, да на окошках белели занавесочки. Отец Яков ввел Кунина в маленькую, светлую комнату с глиняным полом и со стенами, оклеенными дешевыми обоями; несмотря на кое-какие потуги к роскоши, в виде фотографий в рамочках, да часов с прицепленными и гирею иконичками, обстановка поражала своею скучностью. Гляди на мебель, можно было подумать, что отец Яков ходил по дворам и собирали ее по частям: в одном месте дали ему круглый стол на трех ногах, в другом — табурет, в третьем — стул с сильно загнутой назад спинкой, в четвертом — стул с прямой спинкой, но с вдавленным сиденьем, а в пятом — расщедрились и дали какое-то подобие дивана с плоской спинкой и с решетчатым сиденьем. Это подобие было выкрашено в темно-красный цвет и сильно пахло краской. Кунин сначала хотел сесть на один из стульев, но подумал и сел на табурет.

— Вы это первый раз в нашем храме? — спросил отец Яков, вешая свою шляпу на большой уродливый гвоздь.

— Да, в первый. Вот что, батюшка... Прежде чем мы приступим к делу, угостите меня чаем, а то у меня все душа высохла.

Отец Яков заморгал глазами, крякнул и пошел за перегородку. Послышалось шушуканье...

«Должно быть, с попадьем... — подумал Кунин. — Интересно бы поглядеть, какая у этого ражного попадья...»

Немного погода, отец Яков вышел из-за перегородки красивый, потный и, сияясь улыбнувшись, сел против Кунина на край дивана.

— Сейчас поставят самовар, — сказал он, не глядя на своего гостя.

«Боже мой, они еще самовара не ставили! — ужаснулся про себя Кунин. — Изволь теперь ждать!»

— Я вам привез, — сказал он, — черновое письмо, которое я написал архиерею. Прочту после чая... Может быть, вы найдете что-нибудь добавить...

— Хорошо-с.

Наступило молчание. Отец Яков пугливо покосился на перегородку, поправил волосы и высыпался.

— Погода чудесная-с... — сказал он.

— Да. Между прочим, интересную и вещь прочел вчера... Вольское земство постановило передать все свои школы духовенству. Это характерно.

Кунин поднялся, зашагал по глиняному полу и начал высказывать свои соображения.

— Это ничего, — говорил он, — лишь бы только духовенство столло на высоте своего прозвания и ясно сознавало свои задачи. К моему несчастью, я знаю священников, которые, по своему развитию и нравственным качествам, из годятся в военные писаря, а не то что в священники. А вы согласитесь, плохой учитель принесет школе гораздо меньше вреда, чем плохой священник.

Кунин взглянул на отца Якова. Тот сидел согнувшись, о чем-то усердно думал и, позидомому, не слушал гостя.

— Яша, поди-ка сюда! — послышался женский голос из-за перегородки.

Отец Яков встрепенулся и пошел за перегородку. Опять началось шушуканье.

Кунина защемила тоска по чаю.

«Нет, не дождусь я тут чаю! — подумал он, глядя на часы. — Да кажется, тут я не совсем желанный гость. Хозяин не соблаговолил со мной и одного слова сказать, а только сидит да глазами хлопает».

Кунин взялся за шляпу, дождался отца Якова и простился с ним.

— Даром только утро пропало! — злился он дорогой. — Бревно! Шиловой он так же интересуется, как я прошлогодним снегом. Нет, не сварю я с ним каши! Ничего у нас с ним не выйдет! Если бы предводитель знал, какой здесь поп, то не спешил бы хлопотать о школе. Надо сперва о хорошем попе позаботиться, а потом уж о школе!

Кунин теперь почти ненавидел отца Якова. Этот человек, его жалкая, карикатурная фигура, в длинной, помятой ризе, его бабье лицо, манера служить, образ жизни и канцелярской застенчивая почтительность оскорбляли тот небольшой кусочек религиозного чувства, который оставался еще в груди Кунина и тихо теплился наряду с другими инициальными сказками. А холодность и невнимание, с которыми он встретил искреннее, горячее участие Кунина в его же собственном деле, было трудно вынести самолюбию...

Вечером того же дня Кунин долго ходил по комнатам и думал, потом решительно сел за стол и написал архиерею письмо. Попросив денег для школы и благословения, он, между прочим, искренно, по-сыновьски, изложил свое мнение о синьковском священнике. «Он молод, — написал он, — недостаточно развит, кажется, ведет нетрезвую жизнь и вообще не удовлетворяет тем требованиям, которые веками сложились у русского народа по отношению к его пастырям». Написав это письмо, Кунин легк

задохнулся и лег спать с сознанием, что он сделал добре дело.

В понедельник утром, когда он еще лежал в постели, ему доложили о приходе отца Якова. Вставать ему не хотелось, и он велел сказать, что его нет дома. Во вторник уехал он на съезд и, вернувшись в субботу, узнал от прислуки, что без него ежедневно приходил отец Яков.

«Как, однако, ему мои крендельки понравились!» — подумал Кунин.

В воскресенье, перед вечером, пришел отец Яков. На этот раз не только полы, но даже и шляпа его была обрызгана грязью. Как и в первое свое посещение, он был красив и потен, сел, как и тогда, на краешек кресла. Кунин порешил не начинать разговора о школе, не метать бисера.

— Я вам, Павел Михайлович, списочек учебных пособий привнес... — начал отец Яков.

— Благодарю.

Но по всему видно было, что отец Яков не из-за списочка пришел. Вся его фигура выражала сильно смущение, но в то же время на лице была написана решимость, как у человека, внезапно озаренного идеей. Он порывался сказать что-то важное, крайне нужное и силился теперь побороть свою робость.

«Что же он молчит? — вспыхнул Кунин. — Расседи тут! Мне ведь некогда возиться с ним!»

Чтобы хоть чем-нибудь сгладить неловкость своего молчания и скрыть борьбу, происходившую в нем, священник начал принужденно улыбаться, и эта улыбка, долгая, вымученная сквозь пот и краску лица, не взависшая с неподвижным взглядом серо-голубых глаз, заставила Кунина отвернуться. Ему стало противно.

— Извините, батюшка, мне нужно ехать... — сказал он.

Отец Яков встрепенулся, как сонный человек, которого ударили, и, не переставая улыбаться, начал в смущении запахивать полы своей рясы. При всем отвращении к этому человеку, Кунину вдруг стало жаль его, и он захотел смягчить свою жестокость.

— Прощу, батюшка, в другой раз... — сказал он, — а из прощанья у меня и вам будет просьба... Тут как-то я вдохновился, знаете, и написал две проповеди... Отдаю на ваше рассмотрение... Коли сгодится, прочтите.

— Хорошо-с... — сказал отец Яков, покрывая ладонью лежавшие на столе проповеди Кунина. — Я возьму-с...

Постояв немного, помявшись и все еще запахивая рясу, он вдруг перестал принужденно улыбаться и решительно поднял голову.

— Павел Михайлович, — сказал он, видимо стараясь говорить громко и явственно.

— Что прикажете?

— Я слышал, что вы наволили тово... рассчитать своего писаря и... и ищете теперь позого...

— Да... А вы имеете порекомендовать кого-нибудь?

— Я, видите ли... и... Не можете ли вы отдать эту должность... мне?

— Да разве вы бросаете священство? — изумился Кунин.

— Нет, нет, — быстро проговорил отец Яков, почему-то бледнея и дрожа всем телом. — Боже меня сохрани! Ежели сомневаетесь, то не нужно, не нужно. Я ведь это как бы между делом... чтоб дивиденды свои увалечь... Не нужно, не беспокойтесь!

— Гм... дивиденды... Но ведь я плачу писарю только двадцать рублей в месяц!

— Господи, да я и десять взял бы! — прошептал отец Яков, оглядываясь. — И десяти довольно! Вы... вы изумляетесь, и все изумляются. Жадный поп, алчный, куда он деньги девает? Я и сам это чувствую, что жадный... и казню себя, осуждаю... людям в глаза глядеть совестно... Вам, Павел Михайлович, я по совести... привожу истинного бога в свидетели...

Отец Яков перевел дух и продолжал:

— Приготовил я вам дорогой целую исповедь, но... все забыл, не подберу теперь слов. Я получаю в год с прихода сто пятьдесят рублей, и все... удивляются, куда я эти деньги деваю... Но я вам все по совести объясню... Сорок рублей в год я за брата Петра в духовное училище вношу. Он там на всем готовом, но бумага и перья мои...

— Ах, верю, верю! Ну, и чему все это? — замахал рукой Кунин, чувствуя страшную тяжесть от этой откровенности гостя и не зная, куда деваться от слезливого блеска его глаз.

— Потом-с, я еще в консисторию за место свое не все еще выплатил. За место с меня две струи рублей положили, чтоб я по десяти в месяц выплачивал... Судите же теперь, что остается? А ведь, кроме того, я должен выдавать отцу Авраамию, по крайней мере, хоть по три рубля в месяц!

— Какому отцу Авраамию?

— Отцу Авраамию, что до меня в Синькове священником был. Его лишили места за... слабость, а ведь он в Синькове и теперь живет! Куда ему деваться? Кто его кормить станет? Хоть он и стар, но ведь ему и угол, и хлеба, и одежду надо! Не могу я допустить, чтоб он, при своем сане, пошел милостыню просить! Мне ведь грех будет, ежели что! Мне грех! Он... всем задолжал, а ведь мне грех, что я за него не плачу.

Отец Яков рванулся с места и, безумно гляди на пол, зашагал из угла в угол.

— Боже мой! Боже мой! — забормотал он, то поднимая руки, то опуская. — Спаси нас, Господи, и помилуй! И зачем было тако! сан на себя принимать, ежели ты маловер и сил у тебя нет? Нет конца моему отчаянию! Спаси, царица небесная.

— Успокойтесь, батюшка! — сказал Кунин.

— Замучил голод, Павел Михайлович! — продолжал отец Яков. — Извините великодушно, но нет уже сил-монх... Я анало, — спросил я, поклонясь, и всякий поможет, но... не могу! Совестно же! Как я стану у мужчин просить? Вы служите тут и сами видите... Какая рука подымется просить у никого? А просить у кого побогаче, у помещиков, не могу! Гордость! Совестно!

Отец Яков махнул рукой и искри зачесал обеими руками голову.

— Совестно! Боже, как совестно! Не могу, гордец, чтоб люди мою бедность видели. Когда вы меня посетили, то ведь чаю нового не было, Павел Михайлович! Ни соринки его не было, а ведь открыться перед вами гордость помешала! Стынуясь своей однажды, вот этих ляжок... Риз своих стынусь, голода... А прилична ли гордость священнику?

Отец Яков остановился посреди кабинета и, словно не замечая присутствия Кунина, стал рассуждать о самом собой.

— Ну, положим, я снесу и голову, и срам, но ведь у меня господи, еще попады есть! Ведь я ее из хорошего дома взял! Она белоручка и лежкая, привыкла и и чай, и к белой булке, и к простилям... Она у родителей на фортепьянах играла... Молодая, еще и двадцати лет нет... Хотется, небось, и нарядиться, и пошалить, и в гости съездить... А она у меня... хуже кухарки всякой, стыдно на улицу показать. Боже мой, боже мой! Только и утеша у нее, что привезу из гостей яблочек, или какой кренделечек...

Отец Яков опять обеими руками зачесал голову.

— И выходит у нас не любовь, а жалость... Не могу видеть ее без сострадания! И что оно такое, господи, делается на свете. Такое делается, что если в газеты написать, то не поверят люди... И когда всему этому конец будет!

— Полноте, батюшка! — почти крикнул Кунин, пугаясь его тона. — Зачем так мрачно смотреть на жизнь?

— Извините, великодушно, Павел Михайлович... — забормотал отец Яков, как пьяный. — Извините, все это... пустое, и вы не обращайте внимания... А только я себя виню и буду винить... Буду!

Отец Яков оглянулся и зашептал:

— Как-то рано утром иду я из Синькова в Лучково; гляжу, а на берегу стоит какая-то женщина и что-то делает... Подхожу ближе и глазам своим не верю... Уилас! Сидит жена доктора, Ивана Сергеевича, и белье полощет... Докторша, в институте окончила! Значит, чтоб люди не видели, норовила пораньше встать и за версту от деревни уйти... Неодолимая гордость! Как увидела, что я около нее и бедность ее заметил, покраснела вся... Я оторопел, испугался, подбежал к ней, хоту помочь ей, а она белье от меня прилечет, боится, чтоб я ее рваных сорочек не увидел...

— Все это как-то даже невероятно... — сказал Кунин сядясь и почти с ужасом гляди на бледное лицо отца Якова.

— Именно, невероятно! Никогда, Павел Михайлович, этого не было, чтоб докторши на реке белье полоскали! Ни в каких странах этого нет! Мне бы, как пастырю и отцу духовному, не допускать бы ее до этого, но что я могу сделать? Что? Сам же еще норовлю у ее мужа даром лечиться! Верно вы изволили определить, что все это невероятно! Глазам не верится! Во время обедни, знаете, выглядешь из алтаря, да как увидишь свою публику, голодного Авраамия и попадью, да как вспомнишь про докторшу, как у нее от холодной воды руки посинели, то, верите ли, забудешься и стоишь, как дурак, в беспечности, пока пономарь не окликнет... Ужас!

Отец Яков спать заходил.

— Господи Иисусе! — замахал он руками. — Святые угодники! И служить даже не могу... Вы вот про школу мне говорите, а я, как истукан, ничего не понимаю и только об еде думаю... Даже перед престолом... Впрочем... что же это я? — спохватился отец Яков. — Вам уезжать нужно. Простите-с, я ведь это так... извините...

Кунин молча пожал руку отца Якова, проводил его до передней и, вернувшись в свой кабинет, остановился перед окном. Он видел, как отец Яков вышел из дома, нахлобучил на голову свою широкополую, ржавую шляпу и тихо, понурив голову, точно стыдясь своей откровенности, пошел по дороге.

«А его лошади не видно», — подумал Кунин.

Помыслить, что священник все эти дни ходил к нему пешком, — Кунин боялся: до Синькова было семь-восемь verst, а грязь на дороге стояла невылезная. Далее Кунин видел, как кучер Андрей и мальчик Парамон, прыгая через лужи и обрызгивая отца Якова грязью, подбежали к нему под благословение. Отец Яков снял шляпу и медленно благословил Андрея, потом благословил и погладил по голове мальчика.

Кунин провел рукой по глазам, и ему показалось, что рука его от этого стала мокрой. Он отошел от окна и мутными глазами обвел комнату, в которой ему еще слышался ребкий, придушенный голос... Он взглянул на стол... К счастью, отец Яков забыл второрождых взять с собой его проповеди... Кунин подскочил к ним, изорвал их в клочки и с отвращением швырнул под стол.

— И я не знал! — простонал он, падая на софу. — Я, который уже более года служу здесь непременным членом, почетным мировым судьей, членом училищного совета! Слепая кукла, фат! Скорей к нам на помощь! Скорей!

Он мучительно ворочался, стискивал виски и напрягал свой ум.

— Получу 20-го числа жалованья 200 рублей... Под благодидным предлогом суну и ему, и докторше... Его позову молебен служить, а для доктора фантикою заболею... Таким образом, не оскорблю их гордости. И Авраамию помогу...

Он расчитывал по пальцам свои деньги и боялся себе со знать, что этих двухсот рублей едва хватит ему, чтобы заплатить управляющему, прислуге, тому мукику, который привозит мясо... Поневоле пришлось вспомнить то недалекое прошлое, когда неразумно проживалось отцовское добро, когда, будучи еще двадцатилетним малокошесом, он дарил проституткам дорогие веера, платил извозчику Кузьме по десяти рублей в день, подносили из тщеславия актрисам подарки. Ах, как бы пригодились теперь все эти разбросанные рубли, трехрублевки, десятки!

«Отец Авраамий проедает в месяц только три рубля, — думал Кунин.— За рубль попадья может себе сорочку сшить, а докторша прачку нанять. Но я все-таки помогу! Обязательно помогу!»

Тут вдруг Кунин вспомнил донос, который написал он архиерею, и его всего скротило, как от невзначай налетевшего холода. Это воспоминание наполнило всю его душу чувством гнущущего стыда перед самим собой и перед невидимой правдой...

Так началась и завершилась исиренная поутка к полезной деятельности одного из благонамеренных, но чересчур сътых и не рассуждающих людей.

1886.

НА РЕКЕ.

(Весенние картички.)

— Лед тронулся! — слышны крики среди ясного, весеннего дня. — Ребята, лед идет!

Лед трогается аккуратно каждую весну, но тем не менее ледоход всегда составляет событие и злобу дня. Заслышив крики, вы, если живете в городе, близите к мосту, причем на лице у вас такое серьезное выражение, как будто бы на мосту совершается убийство или дневной грабеж. Такое же выражение и у мальчишек, которые бегут мимо вас, у извозчиков, у торговок. На мосту уже собралась публика. Тут гимназисты с ранцами, барышни в ватер-пруфах, две-три рисы, черномазый мальчишка, держащий за уши только-что сшитые сапоги, поддевки всех сортов, солдатики. Все, свесившись через перила моста, молчат, не двигаются и вопросительно глядят вниз на реку. Молчание гробовое, лишь городовой рассказывает какому-то господину в мокнатом пальто и с клапаном на спине о том, насколько прибыла вода, да изредка проезжают с шумом извозчики. Городовой говорит вполголоса. Когда речь идет об аршинах, лицо делается серьезным, вытянутым, почти испуганным, когда же он говорит о вершиках, то на лице его появляется выражение жалости и нежности, как будто вершики его дети.

Свесившись через перила, вы тоже глядите на реку и — какое разочарование! Вы ожидали треска и грохота, во ничего не слышите, кроме глухого, однозначного шума, похожего на очень

даленный гром. Вместо чудовищной ломки, столкновений и дружного падения, вы видите безмятежно лежащие, неподвижные груды изломанного льда, наполняющего всю реку от берега до берега. Поверхность реки изрыта и взбудоражена, точно по ней прошелся великан-пахарь и тронул ее своим громадным плугом. Вода не видно ни капли, а только лед, лед и лед. Ледяные холмы стоят неподвижно, но у вас кружится голова и называется, что мост вместе с вами и с публикой куда-то уходит. Тяжелый мост мчится вдоль реки вместе с берегами и рассекает своими быстрыми грудами льда. Вот одна большая льдина, упершись о бык, долго не пускает мост бежать от нее, но вдруг, как живая, начинает ползти по быку вверх, прямо к вашему лицу, словно хочет проститься с вами, но, не выдержав своей тяжести, ломается на два куска и бессильно падает. Вид у льдин грустный, унылый. Они как будто сознают, что ихгонят из родных мест куда-то далеко, в страшную Волгу, где, насмотревшись ужасов, они умрут, обратятся в ничто.

Скоро холмы начинают редеть, и между льдинами показывается темная, стремительно бегущая вода. Теперь обман исчезает, и вы начинаете видеть, что движется не мост, а река. К вечеру река уже почти совсем чиста от льда, изредка попадаются на ней отставшие льдинки, но их так мало, что они не мешают фонарям глядеться в воду, как в зеркало.

— Это еще не ледоход! — говорят на мосту. — А вот будет ледоход, когда лед с верховьев пойдет!. Нынче в обед приехал один из N—ского уезда. Сказывает, что там уже тронул лед... Стало быть, ожидать его нужно завтра.

Действительно, на другой день пасмурно, дует холодом и сыростью. Такая реальная перемена нигде показывает, что где-то на большом пространстве идет лед... На мосту стоит публика и опять глядит на реку. Вода стоит высоко, но поверхность еще чиста и гладка. Зрители нетерпеливо взывают и понимают от холода. Но вот показывается на поверхности реки большая льдина глыба. За ней, как за козлом в стаде, в почтительном отдалении тихой несколько глыб поменьше... Слышится удар глыбы о бык моста. Она разбилась, и части ее в смятении, кружаась и толкаясь, бегут под мост... На повороте показывается новая глыба, за ней другая, третья... и скоро воздух наполнился глухим шумом, который слышался вчера. Вы видите уже не тующий лед, а чужой, с далеких верховьев.

Скоро и этот лед пропадает, но с его уходом еще не оканчивается весеннеес оживление реки. Тотчас же после ледохода начинают показываться плоты.

Плоты следуют наблюдать не в городе, а где-нибудь дальше, хотя бы у тех таинственных верховьев, откуда шел последний лед.

Вот по речонке Жине, лавируя и извиваясь вмесей, несется длинный плот. Летом Жинка представляет собой пушницу, которую

вы не увидите из-за густого ивника и перейдете в брод, где хотите, теперь же она изуванялема. Глядите на нее и днем даетесь: откуда могла вальться такая прыть? Она надувается, топорщится и грохает затопить всю землю. С большим плотом она обращается, как с маленькой щенкой. Этот плот запоздал и принадлежит к числу последних, которым грозит возможность застрять на пол-дороге. Кунец Макитров вчера уже пустил шесть плотов; на этом следовало бы и остановиться, но жадность одолела, и он сегодня пустил еще седьмой, хотя его и предупредили, что вода пошла на убыль.

На плоту копошится человек двадцать мужиков и баб. Настоящий мужик, который съят и одет, не пойдет в сплавщики, а потому вы видите здесь одну только сплошную голь. Народинко все малобосый, сутуловатый, угрюмого вида, словно огрызанный. Все в лаптях и в такой одежонке, что, кажется, если взять мужика за плечи и хорошо потрясти его, то висящие на нем лохмотья посыпятся на землю. У каждого из них свое лицо: есть рыжие, как глина, и смуглые, как арабы; у одного на лице волос едва пробивается, у другого все лицо космато, как у зверя; у каждого своя рваная шапка, свои лохмотья, свой голос, но тем не менее все они непривычному глазу кажутся одинаковыми, так что долго нужно побывать между ними, чтобы научиться разбирать, кто из них Митрий, кто Иван, кто Кузьма. Такое разительное сходство придается им одной общей печатью, которая лежит на всех бледных, угрюмых лицах, на всех лохмотьях и рваных шапках — невыразимой бедностью.

Работа их непрерывна. Что ни шаг, то Жинка делает поворот, а потому то и дело приходится перебегать с краю на край и работать пастами, чтобы несущийся плот не налетел на берег или не наскочил на утес, о который он мог бы разорваться... Все красны, вспотели и тяжело дышат... Ни один не сидит, хотя среди плота раскидана солома для сиденья. Бабы с заболтанными, мокрыми подолами, тонкие и обворванные, делают то же, что и мужчины...

Оба берега залиты ярким светом полуденного солнца, и перед глазами сплавщикам мелькают картины одна другой краше. С быстройто птицы проносятся перед ними леса, пашни, деревни, барские усадьбы... Вот они видят перед собой на высоком крутом берегу белую церковь с зеленым куполом. Прошла минута, и церкви уже нет, а видна только равнина, далеко залившая сердитой Жинкой; за равниной тянется черная пашня, над которой пестрят не то грачи, не то галики... Вот высокий и длинный, как грабли, мужик гонит по берегу тонкую корову с одним рогом... Далее барская усадьба: на балкончике стоит барыня с зонтиком и спешит указать девочке на плот; какой-то молодой человек в венгерке и высоких сапогах заглядывает в вершу... Потом опять пашня, лес, деревни... Если теперь оглянуться назад, то белая церковь едва блеет на горизонте, а мужика с коровой и след пропыл... Но не думайте,

что плот далеко ушел. Проходит еще немного времени, и сплавщики видят на горизонте что-то белое... Начинают вглядываться и — что за чудеса? — они несутся к той церкви, которую только что оставили назади... Чем ближе подходят к ней, тем больше убеждаются, что это она, та самая, на крутом берегу с зеленым куполом... Вот уж видны ее окна, крест на верхушке, труба на крыше... Проехать еще минутку, и сплавщики будут у самой церкви, — но плот круто поворачивает, и церковь опять остается назади...

Улучив минутку, три-четыре сплавщика сходятся на средине плота, глядят друг на друга и тяжело дышат. Это они отдохнут. Между ними вы увидите единственного человека в сапогах, сапогах ужасных, кривых, рыхких, но все-таки сапогах. Храм оставленный — все храм! В сапоги засунутые узкие суконные брючки, до того низодные, что и критиковать их даже грех. Человек в сапогах одет в рваный полушибок, сквозь дыры которого видна жилетка. На большой голове его торчит бросовая гимназическая фуражка с поломанным козырьком и до-нельзя грязными кантами. Лицо его, испитое и обрюзглое, непохоже на лица остальных сплавщиков... Одним словом, это личность, без которой теперь на Руси не обходится ни одна артель, ни один кабак, ни один сброд ниших и убогих... Эта личность страшно пришиблена судьбой, проникнутаисквостью сознанием своей изаменности, а потому всячески старается скрыть свое «благородство», в котором ее подозревают... В рваном деревенском полушибоке ей гораздо легче дышится, чем в потертом пальто, или жилетке, которую вы, расщедрившись, подумаете ей пожертвовать. Расспрашивать, что она, откуда, кем была и о чем теперь помышляет, жалко, да и бесполезно. Спросите только, и она паврет вам, что она была и в офицерах, и в актерах, и в заточении...

На плоту зовут эту личность Диомидом. В сплавщики Диомид попал не столько из желания заработать три-четыре рубли, сколько обрадовавшись случаю проехать задаром в город и набежать таким образом пешего хождения... Новизна дела занимает его, и он всячески старается не уступать мужикам и трудолюбии. Он так же, как и они, бегает с края на край, суетится, тщет шестом, потеет, еле дышит, но непривычка оказывается в каждом его движении. Не понимает он дела, да кроме того слабосилен и скоро утомляется... Как только увидит, что двое-трое остановились отдохнуть, он непременно пристанет к ним.

Отдыхающие глядят друг на друга и начинают разговор. Тема для разговоров на плотах всегда одна и та же:

— Нынешние времена, это которое... сущая беда! — лепечет коалина бородка в шапке с ушами. — Годов пять назад дешевле восемь рублей никакой сплавщик не брал. За восемь, сделай милость, поплызу, а дешевле не желаю... А нынче еле четыре дают, а? Сущее наказание! И отчего оно так стало, господь его знает!

— Народу много расплодилось... — хрюпит борода лопатой. — Некуда его девать, народ-то этот. Ты за четыре не пойдешь, так другой за три пойдет. Прежде, бывало, ты бабу на плоту и за деньги не увидишь, а теперь, вишь, сколько их насажали! А баба глупа, она и за руль пойдет...

— Четыре рубля... — бормочет коалина бородка, задумчиво глядя на несущийся берег. — Четыре... История!

Диомид поехал не из-за денег, для него все равно, что четыре, что восемь рублей, но, чтобы вылизаться в разговор, он считает нужным поддакнуть.

— Мда... — говорит он. — Деньги паршивые. А все оттого, братцы, что купец разжирил. Боятся с деньгами расстаться...

Собеседники не отвечают Диомиду. Они глядят вперед, куда летит плот, и видят белееющее пятно. Плот опять несет к той же белой церкви. Белый храм ласково интаглит им солнцем, которое отражается в его кресте и в лоснящемся зеленом куполе, и словно обещает не упускать их из виду.

— Однажде какие выкрутасы тут река делает! — говорит Диомид. — Плырем-плывем, а все на одном месте вертимся...

— Ездили прямо в город ехать, то верст пятьдесят будет, а ежели рекой, то и шестьсот наберется. Эх, дал бы только бог, вода не сбывала, завтра ввечеру на месте будем...

День проходит благополучно, без приключений, но к вечеру плот насаживает на беду. Сплавщики вдруг снова начинаящие сумерки усматривают на реке препятствие: у одного берега стоит крепко привязанный паром, а от парома к другому берегу тянутся жидкие, едва только сколоченные лавы. Как проехать? На обоих берегах сильное движение. Несколько человек бегут павстречу плоту, машут руками и кричат:

— Стой! Стой! Черти собачьи!

Оторопевшие сплавщики останавливают плот.

— Не сметь плыть дальше! — кричит какой-то толстяк с красным лицом и в длинном драповом пальто. — Я вас так пугну и чорту с вашими дровами, что вы живы не останетесь! У меня уж и так два раза лавы ломали, а вам не позволю!

Сплавщики переглядываются, мнутся и снимают шапки.

— Ваше степенство, как же нам быть-то? — спрашивает один.

— Как знаете, а ломать лавы не позволю. У меня народ то и дело на фабрику ходит, и без лав никак нельзя.

— Ваше благородие, уж вы будьте благоволенны! — галдят сплавщики плачущими голосами. — Сделайте милость! Мы ваши лавы соберем и к месту приставим, все как следует... по совести! Заставьте вечно бога молить!

— Ну, да, знаю вас! Не сметь!

Красная физиономия грозит рукой и уходит. Сплавщики вешают носы.

— Как он смеет? — кипятится Диомид. — Что за самонадеянство? Не имеет он права до положенного срока лавы ставить! Ребята, вы наплюйте! Нечего на болвана гладеть!

Долго кипятится и ораторствует Диомид, до самой ночи сплавщики ходят по берегу без шапок и кланиются, но ничто не помогает... Приходится мириться с судьбой.

Всю ночь около лав горит огонек. Сплавщики, измокшие и пророгшие, молча и не давая себе ни минуты отдыха, перетаскивают через лавы свои бревна и увязывают их в новый плот. Над этой ершетской работой копошатся они, как муравьи, до самого утра.

А утром опять плыть!

1880.

ГРИША.

Гриша, маленький, пухлый мальчик, родившийся два года и восемь месяцев тому назад, гуляет с нинькой по бульвару. Но нем длинный ватный бурнусик, шарф, большая шапка с мохнатой пуговкой и теплые калоши. Ему душно и жарко, а тут еще разгулявшееся апрельское солнце бьет прямо в глаза и щиплет веки.

Вся его неуклюзая, робко, неуверенно шагающая фигура выражает крайнее недоумение.

До сих пор Гриша знал один только четырехугольный мир, где в одном углу стоит его кровать, в другом — нинькин сундук, в третьем — стул, а в четвертом — горит лампадка. Если взглянуть под кровать, то увидишь куклу с отломанной рукой и барабан, а за нинькиным сундуком очень много разных вещей: катушки от ниток, бумажки, коробки без крышки и сломанный пакет. В этом мире, кроме нини и Гриши, часто бывает мама и кошка. Мама похожа на куклу, а кошка на папину шубу, только у шубы нет глаз и хвоста. Из мира, который называется детской, дверь ведет в пространство, где обедают и пьют чай. Тут стоит Гришин стул на высоких поясках и висят часы, существующие для того только, чтобы маятником и звонить. Из столовой можно пройти в комнату, где стоят красные кресла. Тут на ковре темнеет пятно, за которое Грише до сих пор грозят пальцами. За этой комнатой есть еще другая, куда не пускают и где мелькает папа — личность в высшей степени загадочная! Ниня и мама понимают: они одевают Гришу, кормят и укладывают его спать, но для чего существует папа — неизвестно. Еще есть другая загадочная личность — это тетя, которая подарила Грише барабан. Она то появляется, то исчезает. Куда она исчезает? Гриша не раз заглядывал под кровать, за сундук и под диван, но там ее не было...

В этом же новом мире, где солнце режет глаза, столько пап, мам и тети, что не знаешь, кому и подбежать. Но страннее и неслыханнее

еще все — лошади. Гриша глядит на них двигающиеся ноги и ничего не может понять. Глядит на ниньку, чтобы та разрешила его недоумение, но та молчит.

Вдруг он слышит страшный топот... По бульвару, мерно шагая, движется прямо на него толпа солдат с красными лицами и с белыми венчиками под мышкой. Гриша весь холодаеет от ужаса и глядит вопросительно на ниньку: не спасено ли? Но нинька не боится и не плачет, — значит, не опасно. Гриша провожает глазами солдат и сам начинает шагать им в такт.

Через бульвар перебегают две большие кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и с задранными вверх хвостами. Гриша думает, что и ему тоже нужно бежать, и бежит за кошками.

— Стой! — кричит ему нинька, грубо хватая его за плечи. — Куда ты? Нешто тебе велено шалить?

Бот какая-то ниня сидит и держит маленькое корыто с апельсинами. Гриша проходит мимо нее и молча берет себе один апельсин.

— Это та зачем же? — кричит его спутница, хлопая его по руке и вырывая апельсин. — Дурак!

Теперь Гриша с удовольствием бы поднял стеклышко, которое валился под ногами и сверкал как лампадка, но он боится, что его опять ударят по руке.

— Мое вам почтение! — слышит друг Гриша почти над самым ухом чей-то громкий, густой голос и видит высокого человека со светлыми пуговицами.

К величию его удовольствию, этот человек подает ниньке руку, останавливается с ней и начинает разговаривать. Блеск солнца, шум экипажей, лошади, светлые пуговицы, все это так поразительно ново и не страшно, что душа Гриши наполняется чувством наслаждения и он начинает ходотать.

— Пойдем! Пойдем! — кричит он человечку со светлыми пуговицами, дергая его за фалду.

— Куда пойдем? — спрашивает человек.

— Пойдем! — настаивает Гриша.

Ему хочется сказать, что не дурно бы также прихватить с собой папу, маму и ниньку, но ящик говорит совсем не то, что нужно.

Немного погодя, нинька сворачивает с бульвара и вводит Гришу в большой двор, где есть еще снег. И человек со светлыми пуговицами тоже идет за ними. Минуют старательно снеговые глыбы и луки, потом по грязной, темной лестнице входят в комнату. Тут много дам, пахнет жарким, и некая-то женщина стоит около печи и жарит котлеты. Кухарка и нинька целуются и вместе с человеком садятся на скамью и начинают говорить тихо. Гриша, скучающему, становится невыносимо жарко и душно.

«Отчего бы это?» — думает он, оглядываясь.

Видит он темный потолок, ухват с двумя рогами, печку, которая глядит большим, черным душлом...

— Ма-а-ма! — тишил он.

— Ну, ну, ну! — кричит нянька. — Подождишь!

Кухарка ставит на стол бутылку, две рюмки и пирог. Две женщины и человек со светлыми пуговицами чокаются и пьют по несколько раз, и человек обнимает то няньку, то кухарку. И потом все трое начинают тихо петь.

Гриша тянется к пирогу, и ему дают пусочек. Он ест и глядит, как пьет нянька... Ему тоже хочется выпить.

— Дай! Ниня, дай! — просит он.

Кухарка дает ему отхлебнуть из своей рюмки. Он таращит глаза, морщится, кашляет и долго потом машет руками, а кухарка глядит на него и смеется.

Вернувшись домой, Гриша начинает рассказывать маме, стенам и кровати, где он был и что видел. Говорит он не столько языком, сколько лицом и руками. Показывает он, как блестят солнце, как бегают лошади, как глядит страшная печь и как пьет кухарка...

Вечером он никак не может уснуть. Солдаты с венчиками, большие кошки, лошади, стеклошко, корыто с апельсинами, светлые пуговицы, — все это собралось в кучу и давит его мозг. Он ворочается с боку-на-бок, болтает и в конце концов, не вынося своего возбуждения, начинает плакать.

— А у тебя жар! — говорит мама, наасаль ладонью его лба. — Отчего бы это могло случиться?

— Печка! — плачет Гриша. — Пошла отсюда, печка!

— Вероятно, покушал лишнее... — решает мама.

И Гриша, распаренный впечатлениями новой, только-что изведанной жизни, получает от мамы ложку кастрюли.

1886.

ЛЮБОВЬ.

«Три часа ночи. В окна мои смотрится тихая апрельская ночь и ласково мигает мне своими звездами. Я не сплю. Мне так хорошо!

«Всего меня от головы до пяток расширяет какое-то странное, непонятное чувство. Анализировать его сейчас не умею, некогда, лень, да и бог с ним, с этим анализом! Ну, станет ли отыскивать смысл в своих ощущениях человек, когда летит вниз головой с колокольни, или узнаст, что выиграл двести тысяч? До этого ли ему?»

Приблизительно так началось любовное письмо к Саше, девятнадцатилетней девочке, в которую я влюбился. Первый раз начал я его, столько же раз принимался рвать бумагу, зачеркнул целые страницы и вновь их переписывал. Возился я с письмом долго, как с заказанным романом, и вовсе не для того, чтобы письмо вышло длиннее, вытурнее и чувствительнее, а потому, что хоте-

лось до бесконечности продлить самый процесс этого писанья, когда сидишь в тиши своего кабинета, в который глядится весенняя ночь, и беседуешь с собственными грезами. Между строк я видел дорогой образ, и, казалось мне, за одним столом со мной сидели духи, такие же, как я, наивно-счастливые, глупые и блаженно улыбающиеся, и тоже строчили. Я писал и то и дело потягивал на свою руку, которая все еще томилась от недавнего рукопожатия, а если мне приходилось отводить глаза в сторону, то я видел решетку зелено-калитки. Сквозь эту решетку Саша глядела на меня после того, как я простился с ней. Когда я прощался с Сашей, я ни о чем не думал и только любовался ее фигурой, как всякий порядочный человек любуется хорошенькой женщиной; увидев же сквозь решетку два больших глаза, я вдруг, словно по наитию, понял, что я влюблен, что между нами все уже решено и конечно, что мне остается только соблюсти кое-какие формальности.

Большая такая приятность запечатать любовное письмо, медленно одеться, выйти потихоньку из дома и нести это сокровище к почтовому ящику. На небе уж нет звезд; вместо них на востоке над крышами пасмурных домов белеет длинная полоса, иое-где прерываемая облаками; от этой полосы по всему небу разливается бледность. Город спит, но уж водовозы выехали, и где-то на далекой фабрике свисток будит рабочих. Во все почтовые ящики, слегка подернутого росой, вы непременно увидите неуклюжего дворника в колоколообразном тулуше и с палкой. Находится он в состоянии каталепсии: не спит и не бодрствует, а что-то среднее...

Если бы почтовые ящики знали, как часто люди обращаются к ним за решением своей участи, то не имели бы такого смущенного вида. Я, по крайней мере, едва не обломал свой почтовый ящик и, гляди на него, вспомнил, что почта — величайшее благо!..

Тому, кто когда-либо был влюблен, предлагаю вспомнить, что, спустивши в почтовый ящик письмо, обыкновенно спешишь домой, быстро ложишься в постель и укрываясь одеялом в полной уверенности, что не успеешь завтра проснуться, как тебя охватит воспоминание о вчерашнем, и ты с восторгом будешь глядеть на окно, в котором сквозь складки занавесок жадно пробивается дневной свет...

Но к делу... На другой день, в полдень, горничная Саша прислала мне такой ответ: «Я очень рада приходить сегодня позалубка к вам непременно и вас буду искать. Ваша С.» Запятой ни одной. Это отсутствие знаков препинания, «е» в слове «снапримѣни», все письмо и даже длинный, узкий конвертик, в который оно было положено, наполнили мою душу умилением. В размахистом, но несмелом почерке я узнал походку Саши, ее манеру высоко поднимать брови во время смеха, движение ее губ... Но содержание письма меня не удовлетворило... Во-первых, на поэтические письма так не отвечают, и, во-вторых, зачем мне ити

в дом Сашу и ждать там, пока толстая мамаша, братцы и пражинки догадаются оставить нас наедине? Они и не подумают догадаться, а нет ничего противнее, как сдерживать свои восторги ради того только, что около вас торчит какой-нибудь одушевленный пустяк, вроде полуглухой старушки, или девочки, пристающей с вопросами. Я посыпал с горничной ответ, в котором предлагал Саше избрать местом для rendez-vous какой-нибудь сад или бульвар. Мое предложение было охотно принято. Я попал им, как говорится, в самую жилку.

В шлагм часу вечера я пробирался в самый далекий и глухой угол городского сада. В саду не было ни души, и свидание могло быть назначено где-нибудь поближе, на аллеях или в беседках, но женщины не любят романов наполовину: коли мед, так и ложка, коли свидание, так подавай самую глухую и непроходимую чашу, где рискуешь наткнуться на жулика или подиутывшего мещанина.

Когда я подошел к Саше, она стояла ко мне спиной, а в этой спине прочел я чертовски много таинственности. Казалось, спина, затылок и черные крапинки на платье говорили: *tasse!*.. Девушка была в простеньком, ситцевом платьице, поверх которого была накинута легкая тальмочка. Для пущей таинственности лицо пряталось за белой вуалью. Я, чтобы не портить гармонии, должен был подойти на цыпочках и начать говорить полуушепотом.

Насколько я теперь понимаю, в этом *rendez-vous* я был не сутью, а только деталью. Сашу не столько занимал он, сколько романничность свидания, его таинственность, поцелуй, молчание угрызных деревьев, мои клятвы... Не было минуты, чтобы она забылась, замерла, сбросила с своего лица выражение таинственности, и, право, будь вместо меня какой-нибудь Иван Сидорыч или Сидор Ильинич, она чувствовала бы себя одинаково хорошо. Извольте же при таких обстоятельствах добиться, любят вас или нет? Если любят, то по-настоящему или не по-настоящему?

Из сада повел я Сашу к себе. Присутствие в холостой квартире любимой женщины действует, как музыка и вино. Обыкновенно начинаешь говорить о будущем, причем самоуверенность и самонадеянность не знают границ. Строишь проекты, планы, с жаром толкуешь о генеральстве, не будучи еще пррапорщиком, и в общем несешь такую красноречивую чушь, что слушательница пущено иметь много любви и незнания жизни, чтобы поддавливать. К счастью для мужчины, любящие женщины всегда ослеплены любовью и никогда не знают жизни. Они мало того, что поддакивают, но еще бледнеют от священного ужаса, благоговеют и ловят с жадностью каждое слово маньяка. Саша слушала меня со вниманием, но скоро на лице ее прочел я рассеянность: она меня не понимала. Будущее, о котором говорил я ей, занимало ее только своей внешностью, и напрасно я разворачивал перед ней свои проекты и планы. Ее сильно интересовал вопрос, где будет ее комната, какие обои будут в этой комнате, зачем у меня птичка, а не рояль, и т. д. Она внимательно рассматривала штучки на моем столе,

фотографии, шоколадные флаконы, отлепившие от конвертов старые марки, которые ей для чего-то нужны.

— Пожалуйста, собирай мне старые марки! — сказала она, сделав серьезное лицо. — Пожалуйста!

Затем она нашла где-то на окне срех, громко раскусала его и съела.

— Отчего ты не наклеишь на свои книги билетиков? — спросила она, склонив взглядело шапку с книгами.

— Зачем это?

— А так, чтобы у каждой книги свой номер был... А где я свои книги поставлю? У меня ведь тоже есть книги.

— А какие у тебя книги? — спросил я.

Саша подняла брови, подумала и сказала:

— Разные...

И если бы я вздумал спросить ее, какие у нее мысли, убеждения, цели, она, наверное, таким же образом подняла бы брови, подумала и сказала: «разные»...

Далее, я проводил Сашу домой и ушел от нее самым настояющим патентованным женихом, каким и считался, пока не обвенчали. Если читатель позволит мне судить по одному только моему личному опыту, то я уверяю, что женихом быть очень скучно, гораздо скучнее, чем быть мужем, или ничем. Жених — это ни то, ни се: от одного берега ушел, а к другому не дошел; не женят и нельзя сказать, чтобы был холост, а так что-то похожее на состояние дворника, о котором я упомянул выше.

Ежедневно, улучив свободную минутку, я спешил к невесте. Обыкновенно, идя к ней, я нес с собой тьму надежд, желаний, намерений, предложений, фраз. Мне всякий раз казалось, что едва только горничная откроет дверь, как я, которому душно и тесно, погружусь по горло в прохладительное счастье. Но на деле происходило иначе. Всякий раз, приходя к невесте, я заставлял всю семью ее и домочадцев за штырем глупого придданого. (А гроз: шли два месяца и нашли меньше, чем на сто рублей). Пахло утюгами, стеарином и угаром. Под ногами хрюстал стеклярус. Две самые главные комнаты были завалены волнами полотна, коленкора и кисеи, а из воли выглядывала головка Саши с ниточкой в ушах. Все шыряющие встречали меня радостным криком, но тотчас же выпроваживали в столовую, где я не мог мешать и видеть то, что позволяется видеть только музыям. Скрепи сердце, я должен был сидеть в столовой и беседовать с прививальной Пименовой. Саша, озабоченная и встревоженная, то и дело пребегала мимо меня с кольцом, мотком шерсти, или с другой какой-нибудь скучной.

— Погоди, погоди... Я сейчас! — говорила она, когда я поднимал на нее умоляющие глаза. — Представь, поднял Степанида в бархатовом платье весь лифт испортила!

И, не дождавшись милости, я злился, уходил и прогуливался по тротуарам в обществе своей женниковской шапочки. А то,

бывало, захочешь погулять или покататься с невестой, зайдешь к ней, а она уже стоит со своей маменькой в передней совсем одетая и играет зонтиком.

— А мы в пассаж идем! — говорит она. — Нужно прикупить еще кашемиру и шляпку переменить.

Пропала прогулка! Я привязывался к барыням и шел с ними в пассаж. Возмутительно скучно слушать, как женщины покупают, торгаются и стараются переходитрить надувающего лавочника. Мне стыдно делалось, когда Саша, переворачивая массу материи и сбавив цену *ad minitum*, уходила из магазина, ничего не купив или же приказав отрезать ей кусок за 40—50. Выйдя из магазина, Саша и маменька с озабоченными, испуганными лицами долго толковали о том, что они ошиблись, купили не того, что следовало купить, что на ситце слишком темны цветочки, и т. д.

Нет, скучно быть женихом! Бог с ним!

Теперь я женат. Сейчас вечер. Я ~~один~~ у себя в апартаментах читаю. Позади меня на софе сидит Саша и что-то громко жует. Мне хочется выпить пива.

— Понщи-ка, Саша, штопор... — говорю я. — Тут он где-то валяется.

Саша вскакивает, беспорядочно роется в двух-трех бумажных кипах, роняет спички и, не найдя штопора, молча садится... Проходит минут пять-десять... Меня начинает помучивать червячок — и жаждка, и досада...

— Саша, понщи же штопор! — говорю я.

Саша опять вскакивает и роется около меня в бумагах. Ее жеванье и шелест бумаги действуют на меня, как лязганье потираемых друг о друга ножей... Я встаю и сам начинаю искать штопор. Наконец, он найден, и пиво откупорено. Саша остается около стола и начинает длинно рассказывать о чем-то.

— Ты бы почитала что-нибудь, Саша... — говорю я.

Она берет книгу, садится против меня и принимается шевелить губами... Я гляжу на ее маленький лобик, шевелящиеся губы и задумываюсь.

«Ей двадцатый год... — думаю я. — Если взять интеллигентного мальчика таких же лет и сравнить, то какая разница! У мальчика и знания, и убеждения, и умисло».

Но я прощаю эту разницу, как прощаю узенький лобик и шевелящиеся губы... Бывало, помню, в дни моего ловеласничества я бросал женщин из-за пятна на чулке, из-за одного глупого слова, из-за нечищенных зубов, а тут я прощаю все: жеванье, возню со штопором, неряшество, длинные разговоры о выеденном яйце. Прощаю я почти бессознательно, не насилив своей воли, словно ошибки Саши — мои ошибки, а от многоного, что прежде меня коробило, я прихожу в умиление и даже восторг. Мотивы такого все прощения сидят в моей любви к Саше, а где мотивы самой любви — право, не знаю.

СВЯТОЮ НОЧЬЮ.

Я стоял на берегу Голтвы и ждал с того берега парома. В обычное время Голтва представляет из себя речонку средней руки, молчаливую и задумчивую, кротко блестящую из-за густых камышей, теперь же предо мной расстипалось целое озеро. Разгулявшаяся весенняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захватив огороды, сенокосы и болота, так что на водной поверхности не редкость было встретить одиноко торчащие тополи и кусты, похожие в потемках на суровые утесы.

Погода казалась мне великолепной. Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей... Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно... Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умывшие, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде; звезды купались в темной глубине и дрожали вместе с легкой зыби. В воздухе было тепло и тихо... Далеко, на том берегу, в непроглядной тьме, горело вразсыпанную несколько ярко-красных огней...

В двух шагах от меня темнел силуэт мужика в высокой шляпе и с толстой, суковатой палкой.

— Как, однако, долго нет парома! — сказал я.

— А пора ему быть, — ответил мне силуэт.

— Ты тоже дожидаешься парома?

— Нет, я так... — зевнул мужик, — люминиции дожидаюсь. Поехал бы, да, приплюстнуться, пятака на паром нет.

— Я тебе дам пятак.

— Нет, благодарим покорно... Ужо на этот пятак ты за меня там в монастыре свечку поставь... Этак любопытней будет, а я и тут постою. Скажи на милость, нет парома! Словно в воду канул!

Мужик подошел к самой воде, взялся рукой за канат и закричал:

— Иероним! Иерон-и-им!

Точно в ответ на его крик, с того берега донесся протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса: казалось, прохрипели сами потемки. Тотчас же послышался выстрел из пушки. Он прокатился в темноте и кончился где-то далеко за моей спиной. Мужик снял шляпу и перекрестился.

— Христос воскрес! — сказал он.

Не успели застыть в воздухе волны от первого удара колокола, как послышался другой, за ним тотчас же третий, и потемки наполнились непрерывным, дрожащим гулом. Около красных

огней загорелись новые огни и все вместе задрожали, беспомощно замелькали.

— Иероним! — послышался глухой протяжный крик.

— С того берега кричат, — сказал мужик. — Значит и там нет парома. Заснул наш Иероним.

Огни и бархатный звон колокола манили и себя... Я уж начал терять терпение и волноваться, но вот, наконец, глядываясь в темную даль, я увидел силуэт чего-то, очень похожего на виселицу. Это был давно исчезнувший паром. Он подвигался с такою медленностью, что если б не постепенная обрисовка его контуров, то можно было бы подумать, что он стоит на одном месте, или же идет к тому берегу.

— Скорей! Иероним! — крикнул мой мужик. — Паром доходит!

Паром подплыл к берегу, покачнулся и со скрипом остановился. На нем, держась за канат, стоял высокий человек в монашеской рясе и в конической шапочке.

— Отчего так долго? — спросил я, вскакивая на паром.

— Прости Господа ради, — ответил тихо Иероним. — Больше никого нет?

— Никого...

Иероним взялся обеими руками за канат, изогнулся в вопросительный знак и крикнул. Паром скрипнул и покачнулся. Силуэт мужика в высокой шляпе стал медленно удаляться от меня, — значит, паром поспыл. Иероним скоро выпрямился и стал работать одной рукой. Мы молчали и глядели на берег, к которому плыли. Там уже началась «плюминиация», которой дожидался мужик. У самой воды, громадными кострами пылали смоленные бочки. Отражения их, багровые, как восходящая луна, длинными, широкими полосами полали к нам на встречу. Горящие бочки освещали свой собственный дым и длинные человеческие тени, мелькавшие около огней; но далее в стороны и позади них, оттуда несся бархатный звон, была все та же беспространная, черная мгла. Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвилась к небу ракета: она описала дугу и, точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры. С берега послышался гул, похожий на отдаленное ура.

— Как красиво! — сказал я.

— И сказать нельзя, как красиво! — вдохнул Иероним. — Ночь такая, господи! В другое время и внимания не обратишь на ракеты, а пыльце всякой суете радуешься. Вы сами откуда будете? Я сказал, откуда я.

— Так-с... радостный день пыльце... — продолжал Иероним слабыми, вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные. — Радуется и небо, и земля, и преисподняя. Продолжает все тварь. Только скажите мне, господин хороший, отчего это даже и при великой радости человек не может скорбей своих забыть?

. Мне показалось, что этот неожиданный вопрос вызывал меня на один из тех «продвинувших», душеспасительных разговоров, которые так любят праздные и скучающие монахи. Я не был расположен много говорить, а потому только спросил:

— А какое, батюшка, у вас скорби?

— Обыкновенно, как и у всех людей, ваше благородие, господин хороший, но в нынешний день случилась в монастыре особая скорбь: в самую обедню, во время парений, умер иеродьякон Николай...

— Что ж, это божья воля! — сказал я, подделываясь под монашеский тон. — Воем умирать нужно. По-моему, вы должны еще радоваться... Говорят, что кто умрет под Пасху, или на Пасху, тот непременно попадет в царство небесное.

— Это верно.

Мы замолчали. Силуэт мужика в высокой шляпе слился с очертаниями берега. Смоляные бочки разгорались все более и более.

— И писание лесо указывает на суету скорби, и размыщение, — прервал молчание Иероним, — но отчего же душа скорбит и не хочет слушать разума? Отчего горько плакать хочется?

Иероним покатил плечами, повернулся ко мне и заговорил быстро:

— Умири я, или кто другой, оно бы, может, и не заметно было, но ведь Николай умер! Никто другой, а Николай! Даже поверить трудно, что его уж нет на свете! Стою я тут на пароме и все мне кажется, что сейчас он с берега голос свой подаст. Чтобы мне на пароме страшно не казалось, он всегда приходил на берег и окликнул меня. Нарочито для этого ночью с постели вставал. Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая! У такого человека и матери такой нет, каким у меня был этот Николай! Спаси, господи, его душу!

Иероним взялся за канат, но тотчас же опять повернулся ко мне.

— Ваше благородие, а ум какой светлый! — сказал он певучим голосом. — Какой язык: благозвучный и сладкий! Именно, как вот сейчас будут петь в заутрене: «О, любезного! о, сладчайшего твоего гласа!» Кроме всех прочих человеческих качеств, в нем был еще и дар необычайный!

— Какой дар? — спросил я.

Монах огнедел меня и, точно убедившись, что мне можно доверить тайны, весело засмеялся.

— У него был дар акафисты писать... — сказал он. — Чудо, господин, да и только! Вы изумитесь, скажи я вам объясню! Отец архимандрит у нас из московских, отец наместник в казанской академии кончил, есть у нас и иеромонахи разумные, и старцы, но ведь, скажи пожалуйста, ни одного такого нет, чтобы писать умеет, а Николай, простой монах, иеродьякон, нигде не обучался и даже видимости наружной не имел, а писал! Чудо! Истинно чудо!

Иероним всплеснул руками и, совсем забыв про канат, продолжал с увлечением:

— Отец наместник затрудняется проповеди составлять; когда историю монастыря писал, то всю братию загонял и раз десять в город ездил, а Николай анафисты писал! Анафисты! Это не то, что проповедь или история!

— А разве анафисты трудно писать? — спросил я.

— Большая трудность... — покрутил головой Иероним. — Тут и мудростью, и сантостью ничего не поделаешь, ежели бог дара не дал. Монахи, которые не понимающие, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими анафистами сообразяться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет анафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самомалейшей точки. Ну, и соображаться с прочими анафистами нужно, как где начать и о чем писать. К примеру сказать вам, первый кондак везде начинается с «возбранный» или «избранный»... Первый икос всегда надо начинать с ангела. В анафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: «Ангелов творче и господи сил», в анафисте к пресвятой богородице: «Ангела представитель с небесе послан бысть», к Николаю чудотворцу: «Ангела образом, земного суща естеством» и прочее. Везде с ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не сообразяться, но, главное, ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сложности. Нужно, чтоб все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем раздавался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. В богородичном анафисте есть слова: «Радуйся, высото неудобо-восходимая человеческими помыслы; радуйся, глубина неудобо-зримая и ангельскими очима!» В другом месте того же анафиста сказано: «Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же щитаются вершины, радуйся, древо благосенполиственное, им же покрываются мнояз!»

Иероним, словно испугавшись чего-то, или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой.

— Древо светлоплодовитое... древо благосенполиственное... — пробормотал он. — Найдет же такие слова! Даst же господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово и как это у него все выходит плавно и обстоятельно! «Светоподательна светильника сущим»... — сказано в анафисте к Иисусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его. нашел в уме своем! Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всически, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно

было гладенько и для уха вольготней. «Радуйся, краине райского проявления!» — сказало в анафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто «краине райский», а «краине райского проявления!». Так гладко и для уха спадко. Так именно и Николай писал! Точь-в-точь так! И выражать нам не могу, как он писал!

— Да, в таком случае жаль, что он умер, — сказал я. — Однако, батюшка, давайте пытать, а то опоздаем...

Иероним спохватился и побежал к канату. На берегу начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже крестный ход, потому что все темное пространство за смолинными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями.

— Николай печатал свои анафисты? — спросил я Иеронима.

— Где ж печатать? — задохнулся он. — Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас этим никто не интересуется. Не любят. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает!

— С предубеждением к ним относятся?

— Точно так. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братии и полюбопытствовала бы, а то ведь ему еще и сорока лет не было. Были, которые смеялись и даже за грех почитали его писание.

— Для чего же он писал?

— Так, больше для своего утешения. Из всей братии только я один и читал его анафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб проще не видели, а он и рад, что я интересуюсь. Обнимает меня, по голове гладит, ласковыми словами обзывают, как дитя маленького. Затворит келью, посадит меня рядом с собой и давай читать...

Иероним оставил канат и подошел ко мне.

— Мы в роде как бы друзья с ним были, — зашептал он, гляди на меня блестящими глазами. — Куда он, туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех, а все за то, что я от его анафистов плакал. Вспоминать трогательно! Теперь я все равно как скрота, или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ все хороший, добрый, благочестивый, но... ни в ком нет мягкости и деликатности, все равно как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют, а Николай говорил всегда тихо, ласково, а ежели заметят, что кто спит или молится, то пройдет мимо, как мушка или комарик. Лицо у него было нежное, жалостное...

Иероним глубоко вздохнул и вился за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и речной тишины мы постепенно вились в заколдованное царство, полное удущливого дыма, трещащего света и гама. Около смолных бочек, уж ясно было видно, двигались люди. Мельканье огня придавало их красивым лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, точно выпитые из красной меди.

— Сейчас запоют пасхальный канон... — сказал Иероним, — а Николая нет, некому винить... Для него сложе и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал! Вы вот будете там, господи, и вникните, что поется: дух захватывает!

— А вы разве не будете в церкви?

— Мне нельзя... Перевозить нужно...

— Но разве вас не сменят?

— Не знаю... Меня еще в девятом часу нужно было сменить, да вот, видите, не сменяют!.. А, признаюсь, хотелось бы в церковь...

— Вы монах?

— Да-с... то-есть я послушник.

Паром превзошел в берег и остановился. Я сунул Иерониму питачок за пронос и прыгнул на сушу. Тотчас же телега с мальчиком и со спящей бабой со скрипом выехала на паром. Иероним, слабо окрашиваемый огнями, налег на канат, изогнулся и сдвинул с места паром...

Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось ити по мягкой, свеже-протоптанной тропинке. Эта тропинка полна и темных, похожих на впадину, монастырских воротам сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, распряженных лошадей, телег, бричек. Все это скрипело, фыркало, смеялось и по всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма... Сущий хаос! И в этой толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать принески!

По ту сторону стены, в ограде, происходила не меньшая суета, но благочиния и порядка наблюдалось больше. Тут пахло можжевельником и росным ладаном. Говорили громко, но смеха и фырканья не слышалось. Около могильных памятников и крестов якались друг к другу люди с куличками и узлами. Повидимому, многие из них приехали святить кулички издалека и были теперь утомлены. По чугунным плитам, которые лежали полосой от ворот до церковной двери, суетливо, звонко стучали сапогами, бегали молодые послушники. На колокольне тоже возились и кричали.

«Какая беспокойная ночь! — думал я. — Как хорошо!»

Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. Но нигде возбуждение и беспокойство не сказывалось так сильно, как в церкви. У входа происходила неугомонная борьба прильва с отливом. Одни входили, другие выходили и скоро опять возвращались, чтобы постоять немножко и вновь задвигаться. Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детскими-беспечными радостью, ищащая предлога, чтобы только вырваться

наружу и поглотиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне.

Та же необычайная подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении. Царские враги во всех приделах открыты настень, в воздухе около папирадила плавают густые облака ладанного дыма; куда ни взглянешь, всюду огни, блеск, треск свечей... Чтений не поддается никаких; пение суетливое и веселое не прерывается до самого конца; после каждой песни в каноне духовенство меняет ризы и выходит кафить, что повторяется почти каждые десять минут.

Не успел я занять место, как спереди хлынула волна и отбросила меня назад. Передо мной прошел высокий, плотный дьякон с длинной, красной свечой; за ним спешил с кадилом седой архимандрит в золотой митре. Когда они скрылись из виду, толпа оттиснула меня опять на прежнее место. Но не прошло и десяти минут, как хлынула новая волна и опять показался дьякон. На этот раз за ним шел отец-наставник, тот самый, который, по словам Иеронима, писал историю монастыря.

Мне, слышавшему с толпой и заражавшемуся всеобщим радостным возбуждением, было невыносимо больно за Иеронима? Отчего его не сменят? Почему бы не пойти на паром кому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному?

«Возведи окрест оча твои, Слоне, и виждь... — пели на клиросе, — се бо призываю к тебе, яко богосветлая светила, от запада и севера, и моря, и востока чада твоих...»

Я поклонялся на лица. На всех было живое выражение торжества; но ни один человек не ведущивался и не винил в то, что делалось, и ни у кого не «захватывало дух». Отчего не сменят Иеронима? Я мог себе представить этого Иеронима, смиренно стоящего где-нибудь у стены, согнувшись и жадно ловящего красоту святой фралы. Все, что теперь проскользывало мимо слуха стоявших около меня людей, он жадно пил бы своей чукой душой, ушиел бы до восторгов, до захватывания духа, и не было бы во всем храме человека счастливее его. Теперь же он плавал взад и вперед по теплой реке и тосковал по своем умершем брате и друге.

Сзади хлынула волна. Полный, улыбающийся монах, играя четками и оглядываясь назад, боком протискался около меня, пролаяв путь какой-то даме в шляпке и бархатной шубке. Волна за дамой, неся над нашими головами стул, торопился монастырский служка.

Я вышел из церкви. Мне хотелось посмотреть мертвого Николая, беавестного сочинителя акафистов. Я прошелся около ограды, где вдоль стены тянулся ряд монашеских келий, заглянул в несколько окон и, ничего не увидев, вернулся назад. Теперь я не сожалею, что не видел Николая; бог знает, быть может, увидев его, я утратил бы образ, который рисует теперь мне мое воображение. Этого симпатичного поэтического человека, выходившего по ночам перекликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои ака-

фисты цветами, звездами и лучами солнца, не понятого и одиночного, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах, рядом с умом, долина светилась ласка и та едва сдерживаемая, детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из анафистов.

Когда после обедни мы вышли из церкви, то почти уже не было. Начиналось утро. Звезды погасли, и небо представлялось серо-голубым, хмурым. Чугунные плиты, памятники и почки на деревьях были подернуты росой. В воздухе реагировалось свежесть. За оградой уже не было того оживления, какое я видел ночью. Лошади и люди казались утомленными, сонными, едва двигались, а от смолинных бочек оставались одни только кучки черного пепла. Когда человек утомлен и хочет спать, то ему кажется, что то же самое состояние переинсценировано и природа. Мне казалось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не так громко и весело, как ночью. Беспокойство кончилось, и от возбуждения осталась одна только приятная история, жаждя сна и тепла.

Теперь я мог видеть реку с обеими берегами. Над ней холмами то там, то сям лежал легкий туман. От воды веяло холодом и сыростью. Когда я прыгнул на паром, на нем уже стояла чья-то бричка и десятка два мужчин и женщин. Каюат вязанный и, какказалось мне, сонный, далеко тянулся через широкую реку и местами исчезал в белом тумане.

— Христос воскрес! Больше никого нет? — спросил тихий голос.

Я узнал голос Иеронима. Теперь ночные потемки уже не мешали мне разглядеть монаха. Это был высокий, узкоплечий человек, лет 35, с крупными округлыми чертами лица, с полуза�отыми, лениво глядящими глазами и с нечесанной каштановидной бородкой. Вид у него был необыкновенно грустный и утомленный.

— Вас еще не смирили? — удивился я.

— Меня-с? — переспросил он, поворачивая ко мне свое сияющее, покрытое росой лицо и улыбаясь. — Теперь уж некому сменить до самого утра. Все к отцу архимандриту сейчас разгуляться пойдут-с.

Он, да еще какой-то мушкетчик в шапке из рыжего меха, похожей на липовки, в которых продают мед, понялели на канат, дружно крикнули, и паром тронулся с места.

Мы поспыли, беспокойно па пути лениво подымающийся туман. Все молчали. Иероним машинально работал одной рукой. Он долго водил по нас своими кроткими, тусклыми глазами, потом остановил свой взгляд на розовом, чернобровом лице младенческой купчихи, которая стояла на пароме рядом со мной и молча покидалась от обнимавшего ее тумана. От ее лица не отрывал он глаз в продолжение всего пути.

В этом продолжительном взгляде было мало музыкального. Мне кажется, что на лице женщины Иероним искал мягких и нежных черт своего усшедшего друга.

1886.

ДАМЫ.

Федор Петрович, директор народных училищ Н-ской губернии, считающий себя человеком справедливым и великодушным, принимал однансцы у себя в канцелярии учителя Временского.

— Нет, г. Временский, — говорил он, — отставка неизбежна. С таким голосом, как у вас, нельзя продолжать учительской службы. Да как он у вас пропал?

— Я холодного пива, выпивши, вышел... — прошипел учитель.

— Экая жалость! Служил человек четырнадцать лет, и вдруг такая напасть! Чорт знает, из-за какого пустяка приходится свою карьеру ломать. Что же вы теперь намерены делать?

Учитель ничего не ответил.

— Вы семейный? — спросил директор.

— Жена и двое детей, ваше превосходительство... — прошипел учитель.

Наступило молчание. Директор встал из-за стола и прошелся из угла в угол, волнуясь.

— Ума не приложу, что мне с вами делать! — сказал он. — Учителем быть вы не можете, до пенсии вы еще не дотянули... отпустить же вас на произвол судьбы, на все четыре стороны, не совсем ловко. Вы для нас свой человек, прослужили четырнадцать лет, значит, наше дело помочь вам... Но как помочь? Что я для вас могу сделать? Выйдите вы в мое положение: что я могу для вас сделать?

Наступило молчание; директор ходил и все думал, а Временский, подавленный своим горем, сидел на краешке стула и тоже думал. Вдруг директор прошипел и даже пальцами щелкнул.

— Удивляюсь, как это я раньше не вспомнил! — заговорил он быстро. — Послушайте, вот что я могу предложить вам... На будущей неделе письмоводитель у нас в приюте уходит в отставку. Если хотите, поступайте на его место! Вот вам!

Временский, не ожидавший такой милости, тоже прошипел.

— И отлично, — сказал директор. — Сегодня же напишите прошение...

Отпустив Временского, Федор Петрович почувствовал облегчение и даже удовольствие: перед ним уже не торчала согбенная фигура шипящего педагога, и приятно было сознавать, что, предложив Временскому свободную вакансию, он поступил

справедливо и по совести, как добрый, вполне порядочный человек. Но это хорошее настроение продолжалось недолго. Когда он вернулся домой и сел обедать, его жена, Настасья Ивановна, вдруг вспомнила:

— Ах, да, чуть было не забыла! Вчера приезжала ко мне Нина Сергеевна и просила за одного молодого человека. Говорят, у нас в приюте вакансия открывается...

— Да, но это место уже другому обещано, — сказал директор и нахмурился. — И ты знаешь мое правило: я никогда не даю места по протекции.

— Я знаю, но для Нины Сергеевны, полагаю, можно сделать исключение. Она нас как родных любит, а мы для нее до сих пор еще ничего хорошего не сделали. И не думай, Федя, отказывать! Своими напризами ты ее обидишь, и меня.

— А него она рекомендует?

— Ползухина.

— Какого Ползухина? Это того, что на новый год в собрании Чапского играл? Джентльмена этого? Ни за что!

Директор перестал есть.

— Ни за что! — повторил он. — Боже меня сохрани!

— Но почему же?

— Пойми, матушка, что ум енели молодой человек действует не прямо, а через женщины, то, стало быть, он дринь! Почему он сам ко мне не идет?

После обеда директор лег у себя в кабинете на софе и стал читать полученные газеты и письма.

«Милый Федор Петрович! — писала ему жена городского головы. — Вы как-то говорили, что я сердцеедка и антракт-людей. Теперь вам предстоит проверить это на деле. К вам придет на днях просят места письмоводителя в нашем приюте некий К. Н. Ползухин, которого я знаю за прекрасного молодого человека. Юноша очень симпатичен. Приняв в нем участие, вы убедитесь...», и т. д.

— Ни за что! — проговорил директор. — Боже меня сохрани!

После этого не проходило дня, чтобы директор не получал писем, рекомендовавших Ползухина. В одно прекрасное утро явился и сам Ползухин, молодой человек, полный, с бритым, юношеским лицом, в новой черной паре...

— По делам службы и принимаю не здесь, а в канцелярии, — сказал сухо директор, выслушав его просьбу.

— Простите, ваше превосходительство, но наши общие знакомые посоветовали мне обратиться именно сюда.

— Гм!.. — промычал директор, с ненавистью глядя на его остроносые башмаки. — Насколько я знаю, — сказал он, — у вашего батюшки есть состояние и вы не нуждаетесь, никак не надобность проситься на это место? Ведь жалованье грошово!..

— Я не из-за жалованья, а так... И все-таки служба назенная...

— Так-с... Мне кажется, через месяц же вам надоест эта должность и вы ее бросите, а между тем есть кандидаты, для которых это место — карьера на всю жизнь. Есть бедняки, для которых...

— Не надоест, ваше превосходительство! — перебил Ползухин. — Честное слово, я буду стараться!

Директора изорвало.

— Послушайте, — спросил он, презрительно улыбаясь, — почему вы не обратились сразу ко мне, а нашли нужным предварительно беспокоить дам?

— Я не знал, что это для вас будет неприятно, — ответил Ползухин и сконфузился. — Но, ваше превосходительство, если вы не придаст значения рекомендательным письмам, то я могу вам представить аттестацию...

Он достал из пармы бумагу и подал ее директору. Под аттестацией, написанной канцелярским слогом и почерком, стояла подпись губернатора. По всему видно было, что губернатор подписал не читая, лишь бы только отделаться от какой-нибудь навязчивой барышни.

— Нечего делать, преклоняюсь... слушаю-с... — сказал директор, прочитав аттестацию, и вздохнув. — Подавайте завтра прошение... Нечего делать...

И когда Ползухин ушел, директор весь отддался чувству отвращения.

— Дринь! — шипел он, шагая из угла в угол. — Добил-таки своего, негодный шарпун, бабий угодник! Гадина! Тварь!

Директор громко плюнул в дверь, за которой скрылся Ползухин, и вдруг сконфузился, потому что в это время входила к нему в кабинет барыня, жена управляющего казенными паятами...

— Я на минутку, на минутку... — начала барыня. — Сядите, кум, и слушайте меня внимательно... Ну-с, говорит, у вас есть свободная вакансия.. Завтра или сегодня будет у вас молодой человек, именто Ползухин...

Барыня щебетала, а директор глядел на нее мутными, осоловевшими глазами, как человек, собирающийся упасть в обморок. Глядел и улыбался из приличия.

А на другой день принимал у себя в канцелярии Временского, директор долго не решался сказать ему правду. Он молча штудал и не находил, с чего начать, что сказать. Ему хотелось извиниться перед учителем, рассказать ему всю сущую правду, но язык заплетался, как у пьяного, уши горели и стало жарко обидно и досадно, что приходится играть такую неловкую роль — в своей канцелярии, перед своим подчиненным. Он взял удари по столу, вскочил и закричал сердито:

— Нет у меня для вас места! Нет и нет! Оставьте меня в покое! Не мучайте меня! Отстаньте от меня, наконец, сделайте одолжение!

И вышел из канцелярии.

1886

СИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ.

Дело проходило не так давно в московском окружном суде. Присяжные заседатели, оставленные в суде на ночь, прежде чем лежать спать, завели разговор о сильных ощущениях. Их навело на это воспоминание об одном свидетеле, который стал заложником и поседел, по его словам, благодаря какой-то страшной минуте. Присяжные порешали, что, прежде чем уснуть, каждый из них пороется в своих воспоминаниях и расскажет что-нибудь. Жизнь человеческая коротка, но все же нет человека, который мог бы похвастаться, что у него в прошлом не было ужасных минут.

Одни присяжные рассказали, как он тонул; другой рассказал, как однажды ночью он, в местности, где нет ни врачей, ни аптекарей, отравил собственного ребенка, давши ему по ошибке вместо соды цинкового купороса. Ребенок не умер, но отец едва не сошел с ума. Третий, еще не старый, болезненный человек, описал два своих покушения на самоубийство: раз стрелялся, другой раз бросился под поезд.

Четвертый, маленький, щеголевато одетый толстик, рассказал следующее:

— Мне было 22—23 года, из больше, когда я по уши влюбился в свою теперешнюю жену и сделал ей предложение... Теперь я с удовольствием высек бы себя за раннюю женитьбу, но тогда не знала, что было бы со мной, если бы Наташа ответила мне отказом. Любовь была самая настоящая, такая, как в романах описывают, бешеная, страстная, и прочее. Мое счастье душило меня, и я не знал, куда мне уйти от него, и я надеялся погибнуть, и приятелям, и прислуге, рассказывал постоянно о том, как сильно я люблю. Счастливые люди это самые надоедливые, самые скучные люди. Я надеялся страшно, даже теперь мне совестно...

Между приятелями был у меня тогда один начинающий адвокат. Теперь этот адвокат известен во всю Россию, тогда же он только-что входил в силу и не был еще богат и знаменит настолько, чтобы при встрече со старым приятелем иметь право не узнавать, не снимать шляпы. Бывал я у него раз, или два в неделю. Когда я приходил к нему, мы оба разваливались на диванах и начинали философствовать.

Как-то я лежал у него на диване и толковал о том, что нет более благодарнее профессии, как адвокатская. Мне хотелось добавить, что суд после того, как допрос свидетелей окончен, легко

может обойтись без прокурора и без защитника, потому что тот и другой не нужны и только мешают. Если взрослый, душевно и умственно здоровый присяжный заседатель убежден, что этот потолок бел, что Иванов инновен, то бороться с этим убеждением и победить его не в силах никакой Демосфен. Кто может убедить меня, что у меня рыжие усы, если я знаю, что они черные? Слушая оратора, я, быть может, и расчувствуюсь, и заплачу, но коренное убеждение мое, основанное большую частью на очевидности и на факте, несколько не изменится. Мой же адвокат доказывал, что я молод еще и глуп и что я говорю мальчишеский вздор. По его мнению, очевидный факт оттого, что его освещают добросовестные, сведущие люди, становится еще очевиднее — это раз; во-вторых, талант — это стихийная сила, это ураган, способный обращать в пыль даже камни, а не то что такой пустяк, как убеждение мещан и купцов второй гильдии. Человеческой немощи бороться с талантом — это трудно, как глядеть на мигаю на солнце, или остановить ветер. Одни простой смертный силу слов обращает тысячи убежденных дикарей в христианство; Одиссей был убежденнейший человек в свете, но спасовал перед спиритами и т. д. Вся история состоит из подобных примеров, а в жизни они встречаются на каждом шагу, да так и должно быть, иначе умный и талантливый человек не имел бы никакого преимущества перед глупцом и бездарным.

Я стоял на своем и продолжал доказывать, что убеждение сильнее всякого таланта, хотя, откровенно говоря, сам не мог точно определить, что такое именно убеждение и что такое талант. Вероятно, говорил я только, чтобы говорить.

— Взять хоть тебя... — сказал адвокат. — Ты убежден в настоящее время, что твой невеста ангел и что нет во всем городе человека счастливее тебя. А я тебе говорю: достаточно мне 10—20 минут, чтобы ты сел за этот самый стол и написал отказ своей невесте.

Я засмеялся.

— Ты не смеялся, я говорю серьезно, — сказал приятель. — Захочу я через 20 минут ты будешь счастлив от мысли, что тебе не нужно жениться. У меня не бог весть какой талант, но ведь и ты не из сильных.

— А ну-ка, попробуй! — сказал я.

— Нет, зачем же? Я ведь это так только говорю. Ты мальчик добрый, и было бы жестоко подвергать тебя такому опыту. И к тому же я сегодня не в ударе.

Мы сели ужинать. Вино и мысли о Наташе, мои любовь, наполнили моего меня ощущением молодости и счастья. Счастье мое было так безгранично-велико, что сидевший против меня адвокат с его зелеными глазами показался мне несчастным, таким маленьким, сереньким...

— Попробуй же! — приставал я к нему. — Ну, прошу!

Адвокат покачал головой и поморщился. Я, видимо, уже начал надоедать ему.

— Я знаю, — сказал он, — после моего опыта ты мне спасибо скажешь и назовешь меня спасителем, но ведь нужно и о невесте подумать. Она тебя любит, твой отец заставит бы ее страдать. А какая она у тебя прелесть! Завидую я тебе.

Адвокат вздохнул, выпил вина и стал говорить о том, какая прелесть моя Наташа. У него был необыкновенный дар описывать. Про иенские ресницы или макияж он мог наговорить вам целую кучу слов. Слушал я его с наслаждением.

— Видел я на своем веку много женщин, — говорил он, — но даю тебе честное слово, говорю, как другу, твоя Наташа Андreesна — это перлы, это редкая девушка. Конечно, есть и недостатки, их даже много, если хочешь, но все же она очаровательно.

И адвокат заговорил о недостатках моей невесты. Теперь я отлично понимаю, что это говорил он вообще о женщинах, об их слабых сторонах вообще, мне же тогда казалось, что он говорит только о Наташе. Он восторгался вдернутым носом, покраснениями, взглупым смехом, женственностью, именно всем тем, что мне так в ней не нравилось. Все это, по его мнению, было бесконечно мило, грациозно, женственно. Незаметно для меня, он скоро с восторженного тона перешел на отечески наиздательский, потом на легкий, прозрительный... Председатели суда с нами не было и некому было остановить расходившегося адвоката. Я не успевал рта разинуть, да и что я мог сказать? Принтль говорил не новое, давно уже всем известное, и весь яд был не в том, что он говорил, а в анафемской форме. То есть, чорт знает, какая форма! Слушая его тогда, я убедился, что одно и то же слово имеет тысячу значений и оттенков, смотря по тому, как оно произносится, по форме, какая придается фразе. Конечно, я не могу передать вам ни этого тона, ни формы, скажу только, что, слушая принтля и шагая из угла в угол, я возмущался, ногодовал, присиржал с ним вместе. Я поверил ему даже, когда он со слезами на глазах заявил мне, что великий человек, что я достоин лучшей участи, что мне предстоит в будущем совершить что-то такое особенное, чему может помешать жертва!

— Друг мой! — воскликнул он, крепко пожимая мне руку. — Умоляю тебя, заклинаю: остановись, пока не поздно. Остановись! Да хранит тебя небо от этой странной, жестокой ошибки! Друг мой, не губи свой юродство!

Хотите, верьте, хотите — нет, но к концу-концов я сидел за столом и писал свою письма отклик. Я писал и радовался, что еще не ушло время исправить ошибку. Запечатав письмо, я посыпал на улицу, чтобы опустить его в почтовый ящик. Со мной пошел и адвокат.

— И отлично! Превосходно! — похвалил он меня, когда мое письмо к Наташе исчезло во мраке почтового ящика. — От души тебя поздравляю. Я рад за тебя.

Пройди со мной шага десять, адвокат продолжал:

— Конечно, брак имеет и свои хорошие стороны. Я, например, принадлежу к числу людей, для которых брак и семейная жизнь — все.

И он уже описывал свою жизнь, и предо мною предстали все бессмыслицы одиночной, холостой жизни.

Он говорил с восторгом о своей будущей жене, о сладостях обыкновенной, семейной жизни и восторгался там красиво, так искренно, что когда мы подошли к его двери, я уже был в отчаянии.

— Что ты делаешь со мной, ужасный человек?! — говорил я, задыхаясь. — Ты погубил меня! Зачем ты заставил меня написать то проиллюстрированное письмо? Я люблю ее, люблю!

И я плакал в любви, я приходил в ужас от своего поступка, который уже назался мне диким и бессмысленным. Сильнее того ощущения, которое испытал я в то время, и представить господа, невозможно. О, что я тогда пережил, что перетувствовал! Если бы нашелся добрый человек, который подсунул мне в ту пору револьвер, то я с наслаждением пустил бы себе пулю в лоб.

— Ну, полно, полно... — сказал адвокат, хлопая меня по плечу, и засмеялся. — Перестань плакать. Письмо не дойдет до твоей невесты. Адрес на конверте писал не ты, а я, и я его так запутал, что на почте ничего не поймут. Все это да послужит для тебя уроком: не спорь о том, чего не понимаешь.

Теперь, господа, предлагаю говорить следующему.

Пятый присяжный поудобней уселся и раскрыл уже рот, чтобы начать свой рассказ, как послышался бой часов на Спасской башне.

— Двенадцать... — сосчитал один из присяжных. — А к какому, господа, разряду вы относите ощущения, которые испытывает теперь наш подсудимый? Он, этот убийца, искушает здесь в суде в арестантской, ленинградской, или сидит, и конечно не спит и в течение всей бессонной ночи прислушивается к этому звону. О чём он думает? Какие грёзы посещают его?

И присяжные как-то все вдруг забыли о «сильных ощущениях»; то, что перенесли их товарищ, писавший когда-то письмо к своей Наташе, казалось нервным, даже не забавным; и уже никто не рассказывал, стали тихо, в молчании ложиться спать...

О ЖЕНИЩАХ.

Женщина с самого сотворения мира считается существом вредным и аморальным. Она стоит на таком низком уровне физического, нравственного и умственного развития, что судить ее и зубоскальть над ее недостатками считает себя вправе всякий, даже лишенный всех прав прохвост и сморкающийся в чужие платки тубошлоп.

Анатомическое строение ее стоит ниже всякой критики. Когда какой-нибудь отец семейства видит изображение женщины «о-истюрель», то всегда бреагливо морщится и сплевывает в сторону. Иметь подобные изображения на виду, а не в столе или у себя в кармане, считается моветонством. Мужчина гораздо красивее женщин. Как бы он ни был юношеск, волосат и угреват, как бы ни был красив его нос и узок лоб, он всегда снисходительно смотрят на женскую красоту и женится не иначе, как после строгого выбора. Нет такого Кавалерода, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только очень красивая женщина.

Одни отставной поручик, обожравший тещу и щеголявший в женских полуспальниках, уверял, что если человек произошел от обезьяны, то сначала от этого животного произошла женщина, а потом уже мужчина. Титулярный советник Слюсарин, от которого жена запирала водку, часто говорил: «Самое скверное насекомое в свете есть женский пол».

Ум женщины никуда не годится. У нее волосы дологи, но ум короток; у мужчины же наоборот. С женщиной нельзя потолковать ни о политике, ни о состоянии курса, ни о чиновниках. В то время как гимназист III класса решает уже мировые задачи, а колледжские регистраторы изучают книгу «30 000 иностранных слов», умные и варословые женщины толкуют только о модах и военных.

Логика женщины вошла в поговорку. Когда какой-нибудь надворный советник Анафитский или департаментский сторож Дорофеев заводят речь о Бисмарке или о пользе науки, то любо послушать их: приятно и умилительно; когда же чья-нибудь супруга, за исключением других тем, начинает говорить о детях или пьянстве мужа, то какой супруг воздернется, чтобы не воскликнуть: «Затарантисла таранта! Ну, да и логика же, господи, прости ты меня грешного! Изучать науки женщина не способна. Это явствует уже из одного того, что для нее не заводят учебных заведений. Мужчины, даже идиоты и кретины, могут не только изучать науки, но даже и занимать кафедры, но женщина — ничтожество ей имя! Она не сочиняет для продажи учебников, не читает рефератов и длинных академических речей, не выделяет из казенных счетов в ученым командировкам и не утилизирует заграничных диссертаций. Ужасно неразвита! Творческих талантов у нее — ни капли. Не только великолепное и гениальное, но даже

шопотов и шантажское пишется мужчинами, ей же дана от природы только способность заворачивать в творениях мужчин пирожки и делать из них паштетки.

Она порочна и безнравственна. От нее идет начало всех зол. В одной старинной книге сказано: «Mulier est malleus, reg quod diabolus mollit et malleat ipsiuscum mundum». Когда дьяволу приходит охота учинить какую-нибудь пакость, или извергнуть, то он всегда норовит действовать через женщины. Вспомните, что из-за Бель Элен вспыхнула Троянская война. Мессалина сорвала с пути истины не одного папинку... Гоголь говорит, что чиновники берут взятки только потому, что на это толкают их жены. Это совершенно верно. Процивают, в винт проигрывают и на Амалий тратят чиновники только излованье... Имущество антрепренеров, кашинских подрядчиков и секретарей тепличных учреждений всегда записаны на имя жены. Распутена женщина до нельзя. Каждая богатая барыня всегда окружена десятками молодых людей, жаждущих попасть к ней в альфонсы. Бедные молодые люди!

Отечеству женщина не приносит никакой пользы. Она не ходит на войну, не переписывает бумаг, не строит железных дорог, а, запирая от мужа графини с водкой, способствует уменьшению акцизных сборов.

Короче, она лукава, болтлива, суетна, лживая, лицемерна, корыстолюбива, бедарна, легкомысленна, зла... Только одно и симпатично в ней, а именно то, что она производит на свет таких милых, грациозных и умно умных душек, как мужчины... За эту добродетель простим ей все ее грехи. Будем к ней великодушны все, даже монотки в пиджаках и те господа, которых бьют в клубах подсвечниками по мордасам.

1886.

СКАЗКА.

(Посвящается балбесу, хвастающему своим сотрудничеством в газетах.)

Некая муха летала по всем комнатам и громко хвастала тем, что сотрудничает в газетах.

— Я писательница! Я публицистка! — пискнула она. — Радоститесь, пиджаки!

Слыша это, все комары, тараканы, клопы и блохи прониклись уважением к ее особе, и многие даже притянули ее к себе обедать и дали взаймы денег, а паук, болтающей гласности, забился в угол и решил не попадаться на глаза мухе...

— А в жанрих газетах вы сотрудничаете, Муха Ивановна? — спросил ее комар, который посмелее.

— Почти во всех! Есть даже газеты, которым я своим личным участием придаю окраску, тон и даже направление!.. Без меня многие газеты были бы лишены своего характера!

— Что же вы в газетах пишете, Муха Ивановна?

— Я веду там особый отдел...

— Како?

— А вот какой!

И публицистка-муха указала на бесчисленные точки, которыми был покрыт засиненный мухами газетный лист.

1885.

ЗНАКОМЫЙ МУЖЧИНА.

Прелестнейшая Ванда или, как она называлась в паспорте, почетная гражданка Настасья Канавкина, выписавшись из больницы, очутилась в положении, в каком она раньше никогда не бывала: без приюта и без копейки денег. Как быть?

Она первым делом отправилась в ссудную кассу и заложила там кольцо с бирюзой — единственную свою драгоценность. Ей дали за кольцо рубль, но... что купишь за рубль? За эти деньги не купишь ни модной, короткой кофточки, ни высокой шляпы, ни туфель бронзового цвета, а без этих вещей она чувствовала себя точно голой. Ей казалось, что не только люди, но даже лошади и собаки глядят на нее и смеются над простотой ее платья. И думала она только о платье, вопрос же о том, что она будет есть и где будет ночевать, не тревожил ее никакого.

«Хоть бы мужчину знакомого встретить... — думала она. — Я взяла бы денег... Мне ни один не откажет, потому что...»

Но знакомые мужчины не встречались. Их не трудно встретить вечером в Ренессанс, но в Ренессанс не пустят в этом простом платье и без шляпы. Как быть? После долгого томления, когда уже надоело и ходить, и сидеть, и думать, Ванда решила пуститься на последнее средство: сходить к знакомому-нибудь знакомому мужчине прямо на квартиру и попросить денег.

«К кому бы сходить? — размышляла она. — К Мише нельзя — семейный... Рыжий старик теперь на слуниб...»

Ванда вспомнила о зубном враче Финкеле, выкресте, который месяц три назад подарил ей браслет и которому она однажды за ужином в немецком клубе наложила на голову стакан пива. Вспомнив про этого Финкеля, она ужасно обрадовалась.

«Он наверное даст, лишь бы только мне дома его застать... — думала она, иди и пешу. — А не даст, так и у него там все лампы горят».

Когда она подходила к двери зубного врача, у нее уже был готов план: она со смехом избежит по лестнице, влетит к врачу в кабинет и потребует 25 рублей... Но когда она ваялась за зво-

нок, этот план как-то сам собою вышел из головы. Ванда вдруг начала трусить и волноваться, чего с ней раньше никогда не бывало. Она была смела и нахальная только в пьяных компаниях, теперь же, одетая в обыкновенное платье, очутившись в роли обыкновенной просительницы, которую могут не принять, она почувствовала себя робкой и преняженной. Ей стало стыдно и страшно.

«Может быть, он уж забыл про меня... — думала она, не решаясь двернуть за звонок. — И как я пойду к нему в таком платье? Точно пиши или мещанина канат-нибудь...»

И перешептально позвонила.

За дверью послышались шаги; это был швейцар.

— Доктор дома? — спросила она.

Теперь ей приятнее было бы, если бы швейцар сказал «нет», но тот, вместо ответа, впустил ее в переднюю и снял с нее пальто. Лестница показалась ей роскошной, великолепной, но из всей роскоши ей прежде всего бросилось в глаза большое зеркало, в котором она увидела обрашашку без высокой шляпы, без модной кофточки и без туфель бронзового цвета. И Ванда казалось странным, что теперь, когда она была бедно одета и походила на швейку или прачку, в ней появился стыд и уж не было ни наглости, ни смелости, и в мыслях она называла себя уже не Вандой, а как раньше: Настей Канавкиной...

— Пожалуйте! — сказала горничная, проводя ее в кабинет. — Доктор сейчас... Садитесь.

Ванда опустилась в мягкое кресло.

«Так и скажу: дайте взаймы! — думала она. — Это прлично, потому что, ведь, он знаком со мной. Только вот если б горничная вышла отсюда. При горничной полоако... И зачем она тут стоит?»

Минут через пять отворилась дверь, и вошел Финкель, высокий, черномазый выкrest с жирными щеками и с глазами на выпяченных лбу и носу. Щеки, глаза, живот, толстые бороды — все это у него было так сыто, противно, сурово. В Ренессанс и в немецком клубе он обыкновенно бывал навеселе, много тратил там на женщины и терпеливо сносил их шутки (например, когда Ванда выпила ему на голову пиво, то он только улыбнулся и погрозил пальцем); теперь же он имел хмурый, сонный вид и глядел важно, холодно, как начальник, и что-то жевал.

— Что прикажете? — спросил он, не гляди на Ванду.

Ванда поглядела на серьезное лицо горничной, на сырую фигуру Финкеля, который, повидимому, не узнавал ее, и покраснела...

— Что прикажете? — повторил зубной врач уже с раздражением.

— Зу... зубы болят... — прошептала Ванда.

— Ага... Капие зубы? Где?

Ванда вспомнила, что у нее есть один зуб с дырой.

— Внизу направо... — сказала она.

— Гм!.. Раскрывайте рот.

Финкель нахмурился, задержал дыхание и стал рассматривать больной зуб.

— Больно? — спросил он, ковыряя в зубе какой-то железкой.

— Больно... — солгала Ванда. — «Напомнить ему», — думала она, — так он наверное бы узнал... Но... горничная! Зачем она тут стоит?

Финкель вдруг засопел, как паровоз, прямо ей в рот и сказал:

— Я не советую вам плюмбировать его... Из стова зуба вам никакого пользы, все равно.

Поковырив еще немножко в зубе и спачкав губы и десны Ванды табачными пальцами, он опять задержал дыхание и полез ей в рот с чем-то холодным... Ванда вдруг почувствовала страшную боль, вскрикнула и схватила за руку Финкеля.

— Ничего, ничего... — бормотал он. — Вы не пугайтесь... Из этим зубом вам все равно мало толку. Надо быть храброй.

И табачные, окровавленные пальцы поднесли к ее глазам вытравленный зуб, а горничная подошла и подставила ей руку чашечку.

— Дома вы холодной водой рот полоскайте... — сказал Финкель, — и тогда кровь остановится...

Он стоял перед ней в позе человека, который идет, когда же, напоинец, уйдут, оставят его в покое...

— Прощайте... — сказала она, поворачиваясь к двери.

— Гм!.. А кто же мне заплатит за работу? — спросил смеющимся голосом Финкель.

— Ах, да... — вспомнила Ванда, покраснела и подала в кресту рубль, вырученный ею за кольцо с бирюзой.

Выходя на улицу, она чувствовала еще больший стыд, чем прежде, но теперь уже ей было стыдно не бедности. Она уже не замечала, что на ней нет высокой шляпы и модной кофточки. Шла она по улице, плевала кровью, и каждый красный плевок говорил ей об ее жизни, не хорошей, тяжелой жизни, о тех оскорблении, какие она переносила и еще будет переносить завтра, через неделю, через год — всю жизнь, до самой смерти...

— О, как это страшно! — шептала она. — Как ужасно, боже мой!

Впрочем, на другой день она уже была в Ренессанс и танцевала там. На ней была новая громадная, красная шляпа, новая модная кофточка и туфли бронзового цвета. И ужином угождал ей молодой купец, приезжий из Казани.

СЧАСТЛИВЧИК.

Со станции «Бологое», Николаевской железной дороги, трогается пассажирский поезд. В одном из вагонов второго класса «для нурящих», окутанные вагонными сумерками, дремлют человек пять пассажиров. Они только что закусили и теперь, прислонив спинки диванов, стараются уснуть. Тишина.

Отворяется дверь, и в вагон входит высокая, палькообразная фигура в рыжей шляпе и в щегольском пальто, сильно напоминающая опереточных и юль-верновских корреспондентов.

Фигура останавливается посреди вагона, сонит и долго щурит глаза на диваны.

— Нет, и это не тот! — бормочет она. — Чорт знает, что такое! Это просто возмутительно! Нет, не тот!

Один из пассажиров всматривается в фигуру и издает радостный крик:

— Иван Алексеевич! Какими судьбами? Это вы?

Палькообразный Иван Алексеевич вздрогивает, тупо глядит на пассажира и, узнав его, весело всплескивает руками.

— Ра! Петр Петрович! — говорит он. — Сколько вам, сколько лет? А я и не знал, что вы в этом поезде едете.

— Живы, здоровы?

— Ничего себе, только вот, батенька, вагон свой потерял и никак теперь его не найду, станок и идиотина! Пороть меня некому!

Палькообразный Иван Алексеевич покачивается и хихикает.

— Бываю же такие случаи! — продолжает он. — Вышел я после второго звонка кошечку выпить. Выпил, конечно. Ну, думаю, так как станция следующая еще далеко, то не выпить ли и другую рюмку. Пока я думал и пил, тут третий звонок... я, как сумасшедший, бегу и вскачуваю в первый попавшийся вагон. Ну, не идиотина ли я? Не курицы ли сыы?

— А вы, заметно, в веселом настроении, — говорит Петр Петрович. — Подсаживайтесь-ка! Честь и место!

— Ни-и-и... подъди свой вагон понять! Прощайте!

— В потемках вы, чего доброго, с площадки свалиетесь. Садитесь, а когда подъедем к станции, вы и найдете свой вагон. Садитесь!

— Иван Алексеевич задыхается и перешептываясь против Петра Петровича. Он, видимо, возбужден и двигается, как на иголках.

— Куда едет? — спрашивает Петр Петрович.

— Я? В пространство. Такое у меня в голове столпотворение, что я и сам не разберу, куда я еду. Всегда судьба, ну и еду. Ха-ха... Голубчик, видели ли вы когда-нибудь счастливых дураков? Нет? Так вот глядите! Перед вами счастливейший из смертных! Да-с! Ничего по моему лицу не заметно?

— То-есть заметно, что... вы того... чуточку,

— Должно быть, у меня теперь ужасно глупое лицо! Эх, жалко, зеркала нет, поглядеть бы на свою мордоловацию! Чувствую, батенька, что идиотом становлюсь. Честное слово! Хаха... Я, можете себе представить, брачное путешествие совершаю. Ну, не курицы ли сыны?

— Вы? Разве вы женщины?

— Сегодня, милейший! Повенчался и прямо на поезд. Начинаются поздравления и обычные вопросы.

— Ишь ты... — смеется Петр Петрович. — То-то вы франтом таким раздились.

— Да-с... Для полной иллюзии даже духами попрысался. По уши ушел в суету! Ни забот, ни мыслей, а одно только ощущение чего-то этакого... чорт его знает, как его избавить... благодушия, что ли? Отродясь еще так себя великолепно не чувствовал!

Иван Алексеевич закрывает глаза и крутит головой.

— Возмутительно счастлив! — говорит он. — Да вы сами посудите. Пойду я сейчас в свой вагон. Там, на диванчике, около окошка сидит существо, которое, так сказать, всем своим существом предано вам. Этакая блондинка с носиком... с пальчиками... Душечка моя! Ангел ты мои! Пупырчин ты этакий! Филоксера души моей! А ножка! Господи! Ножка ведь не то, что вот наши ножки, а что-то этакое миниатюрное, волшебное... аллегорическое! Ваял бы, да так и съел эту ножку! Э, да вы ничего не понимаете! Ведь вы материалист, сейчас у вас анализа, то да се! Сухие холостяки, и больше ничего! Вот когда женишься, то вспомнишь! Где-то теперь, скажете, Иван Алексеевич? Да-с, так вот пойду я сейчас в свой вагон. Там уж мени с нетерпением ждут... предвкушают мое появление. Навстречу мне улыбка. Я подсаживаюсь и этак двумя пальчиками за подбородочек...

Иван Алексеевич крутит головой и закатывается счастливым смехом.

— Потом кладешь свою башку ей на плечико и обхватываешь рукой талию. Кругом, знаете ли, тишина... поэтический полумрак. Весь бы мир обнял в эти минуты. Петр Петрович, позвольте мне вас обнять!

— Сделайте одолжение.

Приятели при дружном смехе пассажиров обнимаются, и счастливый новобрачный продолжает:

— А для большего идиотства или, как там в романах говорят, для большей иллюзии, пойдешь к буфету и опрокинутом рюмочки две-три. Тут уж в голове и в груди происходит что-то, чего и в сказках не вычитаешь. Человек я маленький, ничтожный, а кажется мне, что и границ у меня нет... Весь свет собой обхватываю!

Пассажиры, глядя на пьяницкого, счастливого новобрачного, заражаются его весельем и уж не чувствуют драмоты.

Вместо одного слушателя, около Ивана Алексеевича скоро появляется уж пять. Он вертится, как на иголках, брыкается, машет руками и болтает без умолку. Он хохочет и все хохочут.

— Главное, господа, поменьше думать! К черту все эти анализы... Хочется выпить, ну и пей, а нечего там философствовать, вредно это или полезно... Все эти философии и психологии к черту!

Через вагон проходит кондуктор.

— Милый человек, — обращается к нему новобрачный, — как будете проходить через вагон № 209, то найдите там даму в серой шляпе с белой птицей и скажите ей, что я здесь!

— Слушаю. Только в этом поезде нет 209 №. Есть 219!

— Ну, 219! Все равно! Так и скажите этой dame: муж цел и невредим!

Иван Алексеевич хватает вдруг себя за голову и стонет:

— Муж... Дама... Давно ли это? Муж... Ха-ха... Пороть тебя нужно, а ты муж! Ах, идиотина! Но она! Вчера еще была девочкой... козявочкой... Просто не верится!

— В наше время даже как-то странно видеть счастливого человека, — говорит один из пассажиров. — Скорей белого слона увидишь.

— Да, а кто виноват? — говорит Иван Алексеевич, прогулывая свои длинные ноги с очень острыми носками. — Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты! Да-с, а вы как думали? Человек есть сам творец своего собственного счастья. Захотите, и вы будете счастливы, но вы ведь не хотите. Вы упрямо уклоняетесь от счастья!

— Вот-те на! Каким образом?

— Очень просто!.. Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил. Настал этот период, и люби во все лопатки, а вы ведь не слушаетесь природы, все чего-то ищете. Далее... В законе сказано, что нормальный индивидуум должен вступить в брак... Без брака счастья нет. Присяло время благоприятное, ну и женись, нечего напинать... Но ведь вы не жениетесь, все чего-то ждете! Засим в Писалии сказано, что вино веселит сердце человеческое... Если тебе хорошо и хочется, чтобы еще лучше было, то, стало быть, иди в буфет и выпей. Главное — не мудрствовать, а жарить по шаблону! Шаблон великое дело!

— Вы говорите, что человек творец своего счастья. Какой к черту он творец, если достаточно большого зуба или алоей тещи, чтобы счастье его полетело вверх тормашкой? Все зависит от случая. Случись сейчас с нами кукуевская катастрофа, вы другое бы занели...

— Чепуха! — протестует новобрачный. — Катастрофы бывают только раз в год. Никаких случаев я не боюсь, потому что нет предлога случаться этим случаям. Редки случаи! Ну,

их и черту! И говорить даже о них не хочу! Ну, мы, кажется, к полустанку подъезжаем.

— Вы теперь куда едете? — спрашивает Петр Петрович. — В Москву, или куда-нибудь южнее?

— Здравствуйте! Как же это я, едучи на север, попаду куда-нибудь южнее?

— Но ведь Москва не на севере.

— Знаю, но ведь мы сейчас едем в Петербург! — говорит Иван Алексеевич.

— В Москву мы едем, помилосердствуйте!

— То-есть, как же в Москву? — изумляется новобрачный.

— Странно... Вы куда билет взяли?

— В Петербург.

— В таком случае поздравляю. Вы не на тот поезд попали. Проходит полминуты молчания. Новобрачный поднимается и тупо обводит глазами компанию.

— Да, да, — поясняет Петр Петрович. — В «Бологом» вы не в тот поезд вскочили... Вас, значит, угоравши после коньину во встречный поезд попасть.

Иван Алексеевич бледнеет, хватает себя за голову и начинает быстро шагать по вагону.

— Ах, я идиотина! — негодует он. — Ах, я подлец, чтобы меня черти съели! Ну, что я теперь буду делать? Ведь в том поезде жена! Она там одна, ждет, томится! Ах, я шут гороховый!

Новобрачный падает на диван и ежится, точно ему наступили на мозоль.

— Несчастный я человек! — стонет он. — Что же я буду делать? Что?

— Ну, ну... — утешают его пассажиры. — Пустяки... Вы телеграфируйте вашей жене, а сами постараитесь сесть по пути в курьерский поезд. Таким образом вы ее догоните.

— Курьерский поезд! — плачет новобрачный, «творец своего счастья». — А где я денег возьму на курьерский поезд? Все мои деньги у жены!

Пошептавшись, смеющиеся пассажиры делают складчину и снабжают счастливца деньгами.

1886.

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК.

В начале апреля 1870 года моя матушка Клавдия Архиповна, вдова поручика, получила из Петербурга, от своего брата Ивана, тайного советника, письмо, в котором между прочим, было написано: «Болезнь печени вынуждает меня каждое лето жить за границей, а так как в настоящее время у меня нет свободных денег для поездки в Марленбад, то весьма возможно, что этим летом я буду жить у тебя в твоей Котусеке, дорогая сестра...»

Прочитав письмо, моя матушка побледнела и затряслась всем телом, потом на лице ее появилось выражение смеха и плача. Она заплакала и засмейлась. Эта борьба плача со смехом всегда напоминает мне мельканье и треск ярко-голящей свечи, когда на нее брызнут водой. Прочитав письмо еще раз, матушка созвала всех домочадцев и прерывающимся от волнения голосом стала объяснять нам, что всех братьев Гундасовых было четверо: один Гундасов помер еще младенцем, другой пошел по военной и тоже помер, третий, не в обиду будь ему сказано, актер, четвертый же...

— До четвертого рукой не достанешь, — всхлипывала матушка. — Родной мне брат, вместе росли, а я все дрожу и дрожу... Ведь тайный советник, генерал! Как я его, ангела моего, встречу? О чем я, дура изобразованная, разговаривать с ним стану? Пятьнадцать лет его не видала! Андрюшенька, — обратилась ко мне матушка, — радуйся, дурачок! Это на твое счастье бог его посыпал!

После того, как мы узнали самую подробную историю Гундасовых, в усадьбе поднялась суматоха, какую я привык видеть только перед спектаклями. Были пощажены только небесный свод и вода в реке, все же остальное подверглось чистке, мытью и окраске. Если бы небо было ниже и меньше, а река не бежала так быстро, то и их бы посребрили кирпичом и потеряли мочалкой. Стены были белы, как снег, но их побелили; полы смыли и лоснились, но их мыли каждый день. Кота Кузого (в бытность мою младенцем я нюком, которым колют сахар, отхватил ему добрую четверть хвоста, отчего он и получил прозвище Кузого) отнесли из хором в кухню и отдали под начало Анисьи; Федыке сказано было, что если собаки будут подходить близко к крыльцу, то его «бог накажет». Но никому так не доставалось, как бедным диванам, креслам и коврам! Никогда в другое время их не били так сильно палками, как теперь, в ожидании гости. Мои голуби, слыша палочные удары, тревожились и то-и-дело взлетали к самому небу.

Приходил на Новостроевки портной Спиридон, единственный во всем уезде портной, дерзавший шить на господ. Это был человек не пьющий, работающий и способный, не лишенный некоторой фантазии и чувства пластики, но тем не менее шивший отвратительно. Все дело портили сомнения... Мысль, что он шьет недостаточно модно, заставляла его переделывать нарядную вещь по пяти раз, ходить пешком в город специально затем только, чтобы изучать франтов и в конце концов одевать нас в костюмы, которые даже карикатурист называл бы утрировкой и шарлем. Мы щеголали в невозможные узкие брюках и в таких коротких пиджаках, что в присутствии барышен нам всегда становилось совестно.

Этот Спиридон долго снимал с меня мерку. Он вымерил всего меня вдоль и поперек, точно собираясь сбить меня ору-

чами, что-то долго записывал на бумагке толстым карандашом и всю свою мерку изрубил треугольными значками. Пожинив со мной, он принял за моего учителя Егора Алексеевича Победимского. Мой незабвенный учитель находился тогда в поре, когда люди следят за ростом своих усов и относятся критически к пиджаку, а потому можете себе представить священный ужас, с каким Спиридон приступил к моему учителю! Егор Алексеевич должен был откинуть назад голову и расставить ноги в виде опрокинутой юбки, то поднимать руки, то опускать. Спиридон вымерял его несколько раз, для чего ходил вокруг него, как влюбленный голубь около голубки, становился на одно колено, изгибался крючком... Моя матушка, томная, замученная хлопотами и уговаривая от утюгов, глядела на всю эту длинную процедуру и говорила:

— Смотри же, Спиридон, бог с тебя взыщет, если сунно испортишь! И счастья тебе не будет, коли не потрафишь!

От слов матушки Спиридона бросало то в жар, то в пот, потому что он был уверен, что не потрафит. За шитье моего костюма он взял 1 руб. 20 коп., а за костюм Победимского 2 руб., причем сунно, подкладка и пуговицы были наши. Это не может показаться дорого, тем более, что от Новостроевки до нас было девять верст, а портной приходил для примерки раза четыре. Когда мы, примеряя, натягивали на себя узкие брюки и щелкали, испещренные живыми птицами, матушка всякий раз брезгливо морщилась и удивлялась:

— Бог знает, какая нынче мода пошла! Даже глядеть совестно. Не будь братец столичным, праве, не стала бы я шить вам по-модному!

Спиридон, радуясь, что бранят не его, а моду, пожимал плечами и вздыхал, как бы желая сказать: «Ничего не поделаешь: дух времени!»

Волнение, с которым мы ожидали приезда гостя, можно сравнить только с тем напряжением, с каким спириты с минуту на минуту ожидают появления духа. Матушка носилась с мигренью и склонялась к лицу и плакала. Я потерял аппетит, плохо спал и не учил уроков. Даже во сне меня не оставляло желание поскорее увидеть генерала, то есть человека с эполетами, с широким воротником, который прятал под самые уши, и с обиженной саблей в руке — точь в точь такого, какой висел у нас в зале над диваном и таращил страшные, черные глаза на всякого, кто осмеливался глядеть на него. Один только Победимский чувствовал себя в своей тарелке. Он не ужасался, не радовался, а только изредка, выслушивая от матушки историю рода Гундасовых, говорил:

— Да, приятно будет поговорить со скромным человеком.

На моего учителя у нас в усадьбе глядела, как на натуру исключительную. Это был молодой человек, лет двадцати, угроватый, лохматый, с маленьким лбом и с необычайно длинным

носом. Ноо был так велик, что мой учитель, разглядывая что-нибудь, должен был наклонять голову на бок по-птичьи. По нашим понятиям, во всей губернии не было человека умнее, образованнее и галантнее. Кончил он шесть классов гимназии, потом поступил в ветеринарный институт, откуда был исключен, не проучившись и полугода. Причину исключения он тщательно скрывал, что давало возможность всякому желающему видеть в моем воспитателе человека пострадавшего и до некоторой степени таинственного. Говорил он мало и только об умном, ел в пост скромное и на окружающую жизнь иначе не глядел, как только смыслока и преврятально, что, впрочем, не мешало ему принимать от моей матушки подарки, в виде костюмов, и рисовать на моих змеях глупые рожи с красными зубами. Матушка не любила его за «гордость», но преклонялась пред его умом.

Гости недолго ждали. В начале мая на двух возах прибыли со станции большие чемоданы. Эти чемоданы глядели так величественно, что, снимая их с возов, кучера машинально поклонялись шапки.

«Должно быть, — подумал я, — в этих сундуках мундиры и порох»...

Почему порох? Вероятно, понятие о генеральстве в моей голове было тесно связано с пушками и порохом.

Утром, десятого мая, когда я проснулся, нишка шепотом объявила мне, что «приехали дяденька». Я быстро оделся и, кое-как умывшись, не молясь богу, полетел из спальной. В сених я наткнулся на высокого, плотного господина, с фешебельными бакенами и в франтовском пальто. Помергзев от священного ужаса, я подошел к нему и, припомнкая составленный матушкою церемониал, шаркнул перед ним ножкой, низко поклонился и потянулся к ручке, но господин не дал мне попользовать руку и объяснил, что он не дядя, а только дядин наследник Петр. Вид этого Петра, одетого гораздо богаче, чем я и Победимский, поверг меня в крайнее изумление, не останавливающее меня, говоря по правде, и до сегодня: неужели такие солидные, почтенные люди, с умными и строгими лицами, могут быть лакомки? И ради чего?

Петр сказал мне, что дядя с матушкой в саду. Я бросился в сад.

Природа, не знающая истории рода Гундасовых и чина моего дядиши, чувствовала себя гораздо свободнее и развязнее, чем я. В саду промелькали волчи, каная бывает только на ярмарках. Бесчисленные скворцы, рассеянные воздух и прыгая по аллеям, с криком и шумом гонялись за майскими жуками. В спирененных кустах, которые своими нежными наручами цвятами лешили прямо в лицо, исполосились воробы. Куда ни повернешься, отовсюду неслись пение извёлки, писаные узды и кобчики. В другое время я начал бы гоняться за стрекозами или бросать камнями в ворона,

который сидел на невысокой скамье под осиной и поворачивал в стороны свой тупой нос, теперь же было не до шалостей. У меня билось сердце и холодело в животе: я готовился увидеть человека с эполетами, обнаженной саблей и со страшными глазами!

Но представьте мое разочарование! Рядом с матушкой гулял по саду тоненький, маленький франт в белой, шелковой паре и в белой фуражке. Заложив руки в карманы, откинув назад голову, то-и-дело забегал вперед матушки, он назывался своим молодым человеком. Во всей фигуре его было столько движения и жизни, что предательскую старость я мог увидеть только по-дядя поближе сяди и взглянув на края фуражки, где серебрились коротко остриженные волосы. Вместо солидности и генеральской тугоподвижности, я увидел почти мальчишескую вертлювость; вместо воротника, прущего под уши — обыкновенный, голубой галстук. Матушка и дядя гуляли по аллее и беседовали. Я тихо подошел к ним сзади и стал ждать, когда кто-нибудь из них оглянется.

— Катой у тебя здесь восторг, Клада! — говорил дядя. — Как мило и хорошо! Знай я раньше, что у тебя здесь такая прелесть, ни за что бы в те годы не ездил за границу.

Дядя быстро нагнулся и понюхал тульпан. Что только ни попадалось ему на глаза, все возбуждало в нем восторг и любопытство, словно отродясь он не видел сада и солнечного дня. Странный человек двигался как на пружинах и болтал без умолку, не давая матушке сказать ни одного слова. Вдруг на повороте аллеи из-за бузины показался Победимский. Появление его было так неожиданно, что дядя вздрогнул и отступил шаг назад. В этот раз мой учитель был в своем парадной крылатке с рукавами, в которой он, в особенности сзади, очень походил на кетрину мельницу. Вид у него был величественный и торжественный. Приказ по-испански шепнув к груди, он сделал шаг к дяде и поклонился, как кланяются маркизы в мелодрамах: вперед и несколько на бок.

— Честь имею представиться вашему высокопреосходительству, — сказал он громко, — педагог и преподаватель вашего племянника, бывший слушатель ветеринарного института, дворянин Победимский!

Такая учтивость учителя очень понравилась моей матушке. Она улыбнулась и замерла от сладкого ожидания, что он скажет еще что-нибудь умное, но мой учитель, ожидавший, что на его величественное обращение ему и ответят величественно, т. е. скажут по-генеральски «гм» и протянут два пальца, сильно сплющился и оробел, когда дядя приветливо засмеялся и крепко пожал ему руку. Оз преборомотал еще что-то несвязное, закашлялся и отошел в сторону.

— Ну, не прелест ли? — засмеялся дядя. — Ты погляди: надел размахайку и думает, что он очень умный человек! Ира-

вится мне это, клянусь богом!.. Сколько ведь в ней, в этой глупой размахайке, юного алломба, иизин! А это что за мальчик? — спросил он, вдруг обернувшись и увидев меня.

— Это мой Андрюша, — отрекомендовала меня матушка, зардевшись. — Утешение мое...

Я поклонился по песку ножкой и низко поклонился.

— Молодец мальчик... молодец мальчик... — забормотал дядя, отнимая от моих губ руку и глядя меня по голове. — Тебя Андрюшей зовут? Так, так... Мда... клянусь богом... Учишься?

Матушка, привирая и преувеличивая, как все матери, начала описывать мои успехи по наукам и благонравие, а я шел около дяди и, согласно церемониалу, не переставал отвечивать никакие поклоны. Когда моя матушка начала уже забрасывать удочку на тот счет, что с моими замечательными способностями мне не мешало бы поступить в кадетский корпус на казенный счет, и когда я, согласно церемониалу, должен был заплакать и попросить у дядюшки прощекции, дядя вдруг остановился и в изумлении расставил руки.

— Батюшки! Это же что? — спросил он.

Прямо на нас по аллее шла Татьяна Ивановна, жена Федора Петроича, нашего управляющего. Она несла белую пакрахмаленную юбку и длинную гладильную доску. Проходя мимо нас, она робко, сквозь ресницы взглянула на гостя и зарделась.

— Час от часу не легче... — процедил дядя сквозь зубы, пасково глядя ей вслед. — У тебя, сестра, что ни шаг, то сюрприз... клянусь богом.

— Она у нас красавица... — сказала матушка. — Федору ее из посада выставили... за сто верст отсюда...

Татьяну Ивановну не всякий назвал бы красавицей. Это была маленькая, полненькая женщина, лет двадцати, стройная, чернобрюзая, всегда розовая и миловидная, но на лице и во всей фигуре ее не было ни одной крупной черты, ни одного смелого штриха, на котором мог бы остановиться глаз, точно у природы, когда она творила ее, не хватало вдохновения и уверенности. Татьяна Ивановна была рабка, конфужива и благородина, ходила тихо и плавно, мало говорила, редко смеялась, и вся жизнь ее была так же розна и плоска, как лицо и гладко прилизанные волосы. Дядя шуркал ей вслед глаза и улыбался. Матушка пристально посмотрела на его улыбающееся лицо и сделалаась серьезной.

— А вы, братец, так-таки и не женитесь! — вдохнула она.

— Не женялся...

— Почему? — тихо спросила матушка.

— Как тебе сказать, жизнь так сложилась. С молоду слишком заработался, не до жизни было, а когда иить захотелось — оглинулся, но за мой спиной уж 50 лет стояло. Не успел! Впрочем, говорить об этом... скучно...

Матушка и дядя, оба разом, вздохнули и пошли дальше, а я отстал от них и побежал искать учителя, чтобы поделиться с ним своими впечатлениями. Победимский стоял посреди двора и величественно глядел на небо.

— Заметно, что развитой человек! — сказал он, покрутив головой. — Надеюсь, что мы с ним сойдемся.

Через час подошла к нам матушка.

— А у меня, голубчики, горе! — начала она, задыхаясь. — Ведь братец с лакеем приехал, а лакей такой, бог с ним, что ни в кухню его не сунешь, ни в сени, а испременно особую комнату ему подавай. Ума не приложу, что мне делать! Вот что разве, деточки, не перебраться ли вам покуда во флигель к Фадору? А вашу комнату лакею бы отдали, а?

Мы ответили полным согласием, потому что жить во флигеле гораздо свободнее, чем в доме, на глазах у матушки.

— Горе, да и только! — продолжала матушка. — Братец сказал, что он будет обедать не в подъезде, а в седьмом часу, постолгному. Просто у меня с гори ум за разум зашел! Ведь я 7 часов весь обед перепарится в печке. Право, мужчины совсем ничего не понимают в хозяйствстве, хотя они и большого ума. Придет, горе мое, два обеда стряпать! Вы, деточки, обедайте попрежнему в подъезде, а я, старуха, потерплю для родного брата, до семи часов.

Затем матушка глубоко вздохнула, приказала мне попраться дядюшке, которого бог приспал на мое счастье, и побежала в кухню. В тот же день я и Победимский переселились во флигель. Нас поместили в проходной комнате, между сенями и спальней управляющего.

Несмотря на приезд дяди и новоселье, жизнь, сверх ожидания, потекла прежним порядком, вялая и однообразная. От занятий «что случаю гости» мы были освобождены. Победимский, который никогда ничего не читал и ничем не занимался, сидел обыкновенно у себя на крохоте, водил по воздуху своим длинным носом и о чем-то думал. Изредка он поднимался, примеривал свой новый костюм и опять садился, чтобы молчать и думать. Одно только озабочивало его — это мухи, по которым он нещадно хлопал ладонями. После обеда он обыкновенно «отдыхал», причем хрюпом наводил тоску на всю усадьбу. Я от утра до вечера бегал по саду или сидел у себя во флигеле и клеил амес. Дядю в первые две-три недели мы видели редко. По целым дням он сидел у себя в комнате и работал, несмотря ни на мух, ни на жару. Его необыкновенная способность сидеть и приростать к столу производила на нас впечатление необъяснимого фокуса. Для нас, лентяев, не знавших систематического труда, его трудолюбие было просто чудом. Проехавшись часов в 9, он садился за стол и не вставал до самого обеда; пообедав, опять принимался за работу и так до поздней ночи. Когда я заглядывал к нему в замочную скважину, то всегда видел неизменно одно и то же:

дядя сидел за столом и работал. Работа заключалась в том, что он одной рукой писал, другой перелистывал книгу и, как это ни странно, весь двигался: качал ногой, как маятником, насвистывал и кивал и толкал головой. Вид у него при этом был крайне рассеянный и легкомысленный, точно он не работал, а играл в пузы и крестинки. Каждый раз я видел на нем короткий, щегольской пиджак и ухарски завязанный галстук, и каждый раз, даже сквозь замочную скважину, от него пахло тонкими женскими духами. Выходил он из своей комнаты только обедать, но обедал плохо.

— Не пойму я братца! — жаловалась на него матушка. — Каждый день нарочно для него режут индейку и голубей, сама своими руками делаю компот, а он снушает тарелочку бульону да кусочек мясца с палец и идет из-за стола. Стану умолять его, чтоб ел, он воротится к столу и выпьет молочка. А что в нем, в молоке-то? Тé же помои! Умрешь от такой еды... Начнишь его уговаривать, а он только смеется, да шутит... Нет, не нравится ему, голубчику, наши кушанья!

Вечера проходили у нас гораздо веселее, чем дни. Обыкновенно, когда садилось солнце и по двору ложились длинные тени, мы, то есть Татьяна Ивановна, Победимский и я, уже сидели на крылечке флигеля. До самых потемок мы молчали. Да и о чем прикажете говорить, когда уже все переговорено? Была одна новость — приезд дяди, но эта тема скоро истрачалась. Учитель нес время не отрывал глаз от лица Татьяны Ивановны и глубоко вздыхал... Тогда я не понимал этих вздохов и не договаривался их смысла, теперь же они объясняют мне очень многое.

Когда тени на земле сливались в одну сплошную тень, с охоты или с поля возвращался управляющий Федор. Этот Федор производил на меня впечатление человека лыкого и даже страшного. Сын обрусевшего изюмского цыгана, черномазый, с большими черными глазами, нудрявый, со всклоченной бородой, он иначе и не назывался у наших кучугувских мужиков, как «чертий». Да и кроме наружности, в нем было много цыганского. Так, он не мог сидеть дома и по целым дням пропадал в поле или на охоте. Он был мрачен, жгучен, молчалив и никого не боялся и не признавал над собой ничьей власти. Матушка он грубил, мне говорил «ты», а к ученисти Победимского относился пренебрежительно. Все это мы прошли ему, считая его человеком испытанным и болееенным. Матушка же любила его, потому что он, несмотря на свою цыгансскую натуру, был идеально честен и трудолюбив. Свою Татьяну Ивановну он любил страстью, как цыган, но любовь эта выходила у него какой-то мрачной, словно выстраданной. При нас он никогда не ласкал своей жену, а только алобно таращил на нее глаза и кривил рот.

Возвращавшись с поля, он со стуком и со злобойставил во флигеле ружье, выходил к нам на крылечко и садился рядом

с женой. Отдышавшись, он задавал жене несколько вопросов по части хозяйства и погружался в молчание.

— Давайте петь, — предлагал я.

Учитель настраивал гитару и густым, дьячковским басом затягивал «Среди долины розные». Начиналось пение. Учитель пел басом, Федор едва слышным тенорком, а я диксантом в один голос с Татьяной Ивановной.

Когда все небо покрывалось звездами и умолкали лягушки, из кухни приносили нам ужин. Мы шли во флигель и принимались за еду. Учитель и цыган ели с жадностью, с треском, так что трудно было понять, хрустели то кости, или их скулья, и мы с Татьяной Ивановной едва успевали съесть свои долги. После ужина флигель погружался в глубокий сон.

Однажды, было это в конце мая, мы сидели на крыльце, и ожидали ужина. Вдруг мельнула тень и перед нами, словно из земли выросши, предстал Гундасов. Он долго глядел на нас, потом всплеснул руками и весело засмеялся.

— Идиотия! — сказал он. — Поют и мечтают на луну! Прелестно, клянусь богом! Можно мне сесть с вами и помечтать?

Мы молчали и переглядывались. Дядя сел на нижнюю ступеньку, зевнул и поглядел на небо. Наступило молчание. Победимский, который давно уже собирался потолковать со свежим человеком, обрадовался слушаю и первый нарушил молчание. Для умных разговоров у него была одна только тема — эпизоотии. Слыхается, что когда вы попадете в тысячу толпу, вам почему-то из тысячи физиономий врезывается надолго в память только одна какая-нибудь, так и Победимский из всего этого, что он успел услышать в ветеринарном институте за полгода, помнил только одно место:

«Эпизоотии приносят громадный ущерб народному хозяйству. В борьбе с ними общество должно ити рука об руку с правительством».

Прежде чем сказать это Гундасову, мой учитель раза три прикрыл и несколько раз в волнении запахивался в крылатку. Услышав про эпизоотии, дядя пристально поглядел на учителя и издал носом смешающийся звук.

— Ей богу, это мило... — пробормотал он, разглядывая нас, как манекенов. — Это именно и есть жизнь... Такую в сущности и должна быть действительность. А вы что же молчите, Пелагея Ивановна? — обратился он к Татьяне Ивановне.

Та сконфузилась и кашлянула.

— Говорите, господа, пойте... играйте! Не теряйте времени. Ведь канальское время бежит, не ждет! Клянусь богом, не успеете оглянуться, как наступит старость... Тогда уж поздно будет жить! Так-то, Пелагея Ивановна... Не нужно сидеть неподвижно и молчать...

Тут из кухни принесли ужин. Дядя пошел за нами во флигель и за компанию съел пять творожников и утиное крыльишко.

Он ел и глядел на нас. Все мы возбуждали в нем восторг и удивление. Какую бы глупость ни сморозил мой незабвенный учитель и что бы ни сделала Татьяна Ивановна, все находил он милым и восхитительным. Когда после ужина Татьяна Ивановна смиренно села в уголок и принялась за вязанье, он не отрывал глаз от ее пальчиков и болтал без умолку.

— Вы, друзья, как можно скорее спешите жить... — говорил он. — Храни вас бог жертвовать настоящим для будущего! В настоящем молодость, здоровье, пыл, а будущее — это обман, дым! Как только стукнет двадцать лет, так и начнайте жить.

Татьяна Ивановна уронила иглу. Дядя вскочил, поднял клу и с поклоном подал ее Татьяне Ивановне, и тут я впервые сказал, что на свете есть люди потоньше Победимского.

— Да... — продолжал дядя. — Любите, женитесь... делайте глупости. Глупость гораздо жизненнее и здоровее, чем наши потуги и погоня за осмыслинной жизнью.

Дядя говорил много и долго, до того долго, что надоел нам, я сидел в стороне на сундуке, слушал его и дремал. Мучило меня, что за все время он ни разу не обратил на меня внимания. Ушел он из флигеля в два часа ночи, когда я, не справившись с сремотой, уже крепко спал.

С этого времени дядя стал ходить к нам во флигель каждый вечер. Он пел с чами, ужинал и всякий раз просиживал до двух часов, без умолку болтал все об одном и том же. Вечерние иочные работы были им оставлены, а к концу июня, когда тайный советник научился есть матушкины индейки и компоты, были брошены и дневные занятия. Дядя оторвался от стола и втянулся в «жизнь». Днем он шагал по саду, наставлял и мешал рабочим, заставляя их рассказывать ему разные истории. Когда на глаза попадалась Татьяна Ивановна, он побегал к ней и, если она несла что-нибудь, предлагал ей свою помощь, что страшно ее конфузило.

Чем дальше вглубь уходило лето, тем легкомысленнее, вертлявее и рассеяннее становился мой дядюшка. Победимский в нем совсем разочаровался.

— Слишком односторонний человек... — говорил он. — Ни капли незаметно, чтоб он стоял на высших ступенях перархии. И говорить даже не умеет. После какого слова: «клянусь богом». Нет, не нравится мне он!

С тех пор, как дядя начал посещать наш флигель, в Федоре и в моем учителе произошла заметная перемена. Федор перестал ходить на охоту, рано возвращался домой, сделался еще молчаливее и как-то особенно злобно плясал глаза на жену. Учитель же перестал в присутствии дяди говорить об эпизоотиях, хмурился и даже насмешливо улыбался.

— Идет наш мышный жеребчик! — проворчал он однажды, когда дядя подходил к флигелю.

Такую перемену в обоих я объяснял себе тем, что они обиделись на дядю. Рассеянный дядя путал их имена, до самого отъезда не научил различать, кто из них учитель, а кто муж Татьяны Ивановны, самое Татьяну Ивановну величал то Настасьей, то Пелагеей, то Евдокией. Умиляясь и восторгаясь ими, он смеялся и держал себя словно с малыми ребятами... Все это, конечно, могло оскорбить молодых людей. Но дело было не в обиде, а, как теперь я понимаю, в более тонких чувствах.

Помню, в один из вечеров я сидел на сундуке и боролся с дремотой. На глаза мои ложился вязкий клей, и тело, утомленное целодневной беготней, клонило в сторону. Но я боролся со сном и старался глядеть. Было около полуночи. Татьяна Ивановна, розовая и смирившая, как всегда, сидела у маленького столика и шила мунику рубаху. Из одного угла палила на нее глаза Федор, мрачный и угрюмый, а в другом сидел Победимский, уходивший в высокие воротнички своей сорочки и сердито сопевший. Дядя ходил из угла в угол и о чем-то думал. Царило молчание, только ольшино было, как в руках Татьяны Ивановны шуршало полотно. Вдруг дядя остановился перед Татьяной Ивановной и сказал:

— Такие вы все молодые, свежие, хорошие, так безмятежно живется вам в этой тишине, что я завидую вам. Я призвался к этой вашей жизни, у меня сердце сжимается, когда вспоминаю, что нужно уехать отсюда... Верьте моей искренности!

Дремота замкнула мои глаза и я забылся. Когда какой-то стук разбудил меня, дядя стоял перед Татьяной Ивановной и глядел на нее с умилением. Щеки у него разгорелись.

— Моя жизнь пропала, — говорил он. — Я не жив! Ваше молодое лицо напоминает мне мою погибшую юность, и я бы согласился до самой смерти сидеть здесь и глядеть на вас. С удовольствием я бы вас с собой в Петербург.

— Зачем это? — спросил хриплым голосом Федор.

— Поставил бы у себя на рабочем столе под стеклом, любовался бы и другим показывал. Вы знаете, Пелагея Ивановна, таких, как вы, там у нас нет. У нас есть богатство, знатность, иногда пррасота, но нет этой жизненной правды... этого здорового покоя...

Дядя сел перед Татьяной Ивановной и взял ее за руку.

— Так не хотите со мной в Петербург? — засмеялся он. — В таком случае дайте мне туда хоть вашу ручку... Прелестная ручка! Не дадите? Ну, скучая, позвольте хоть поцеловать ее...

В это время послышалась треск стула. Федор вскочил и мерными, тяжелыми шагами подошел к жене. Лицо его было бледно-серо и дрожало. Он со всего размаха ударил кулаком по столику и сказал глухим голосом:

— Я не позволю!

Одновременно с ним вскочил со стула и Победимский. Этот, тоже бледный и злой, подошел к Татьяне Ивановне и тоже ударил кулаком по столику...

— Я... я не позволю! — сказал он.

— Что? Что такое? — удивился дядя.

— Я не позволю! — повторил Федор, стукнув по столу.

Дядя вскочил и трусливо замигал глазами. Он хотел говорить, но от изумления и перепуга не сказал ни слова, икофутило улыбнулся и старчески засеменил из флигеля, оставив у нас свою шину. Когда немного погода во флигель прибежала встревоженная матушка. Федор и Победимский все еще, словно кузнецы молотками, стучали кулаками по столу и говорили: «Я не позволю!»

— Что у вас тут случилось? — спросила матушка. — Отчего с братцем сделалось дурно? Что такое?

Поглядел на бледную, испуганную Татьяну Ивановну и на ее рассирепевшего мужа, матушка, вероятно, догадалась, в чем дело. Она задохнула и покачала головой.

— Ну, будет, будет бухотеть по столу! — сказала она. — Перестань, Федор! А вы-то чего стучите, Егор Алексеевич? Вы-то тут при чем?

Победимский спохватился и сконфузился. Федор пристально поглядел на него, потом на жену и зашагал по комнате. Когда матушка вышла из флигеля, я видел то, что долго потом считал за сон. Я видел, как Федор схватил моего учителя, поднял его на воздух и вышибнул в дверь...

Когда я проснулся утром, постель учителя была пуста. На мой вопрос, где учитель, налька сполотом сказала мне, что его рано утром отвезли в больницу лечить сломанную руку. Опечаленный этим известием и припомнивая вчерашний скандал, я вышел на двор. Погода стояла пасмурная. Небо заволожено тучами и по земле гулял ветер, поднимая с земли пыль, бумаги и перья... Чувствовалась близость дождя. На людях и на животных была написана скуча. Когда я пошел в дом, меня попросили не стучать ногами, сказав, что матушка больна мигренью и лежит в постели. Что делать? Я пошел за ворота, сел там на лавочку и стал искать смысла в том, что я вчера видел и слышал. От наших ворот шла дорога, которая, обойди кузницу и никогда не высыхающую лужу, впадала в большую, почтовую дорогу... Я глядел на телеграфные столбы, около которых кружились облака пыли, на сочных птиц, сидевших на проволоках, и мне вдруг стало так скучно, что я заплакал.

По почтовой дороге проехала пыльная линейка, битком набитая горожанами, ехавшими, вероятно, на богослужбу. Не успела линейка исчезнуть из вида, как показалась легкая пролетка, запряженная в пару. В ней, стоя и держась за поло кучера, ехал становой Ахим Никитич. К великому моему удивлению, пролетка свернула на нашу дорогу и пристала между

меня в ворота. Пока я недоумевал, зачем это принесли к нам становой, послышался шум, и на дороге показалась тройка. В коляске стоял исправник и показывал кучеру на наши ворота.

«А этот зачем? — думал я, разглядывая покрытого пылью исправника. — Это, вероятно, Победимский им на Федора пожаловался, и они приехали взять его в острог».

Но загадку не так легко было решить. Становой и исправник были только предтечи, потому что не прошло и пяти минут, как к нам в ворота въехала карета. Она так быстро мелькнула мимо меня, что, заглянув в каретное окно, я увидел одну только рыжую бороду.

Теряясь в догадках и предчувствуя что-то недоброе, я побежал к дому. В передней прежде всего я увидел матушку. Она была бледна и с ужасом глядела на дверь, из-за которой слышались мужские голоса. Гости застали ее врасплох, в самый разгар мигрени.

— Кто приехал, мама? — спросил я.

— Сестра! — послышался голос дяди. — Дай-ка нам с губернатором закусить чего-нибудь!

— Легко сказать: закусить! — прошептала матушка, мгновенно от ужаса. — Что я теперь успею приготовить? Осрамилась на старости лет!

Матушка схватила себя за голову и побежала в кухню. Внезапный приезд губернатора поднял на ноги и ошеломил всю усадьбу. Поднялась ожесточенная реакция. Зарезали десять кур, пять индеек, восемь уток и винопыхах обезглавили старого гусака, родоначальника нашего гусиного стада и любимица матери. Кучера и повар словно обезумели и резали птиц зря, не разбирая ни возраста, ни породы. Ради наного-то соуса у меня погибла пара дорогих турманов, которые мне были так же дороги, как матушке гусак. Смерти их я долго не прощал губернатору.

Вечером, когда губернатор и его свита, сытно пообедав, сели в свои экипажи и уехали, я пошел в дом поглядеть на остатки торжества. Заглянув из передней в залу, я увидел и дядю, и матушку. Дядя, заложив руки назад, нервно шагал вдоль стен и пожимал плечами. Матушка, изнеможенная и сильно похудевшая, сидела на диване и больными глазами следила за движениями брата.

— Извини, сестра, но так нельзя... — брюзжал дядя, морща лицо. — Я представляю тебе губернатора, а ты ему руки не подаешь! Ты его сконфузила, несчастного! Нет, это не годится... Простота хорошая вещь, но ведь и она должна иметь пределы... клинусь богом... И потом этот обед! Разве можно такими обедами кормить? Например, что это за мочалку подавали на четвертое блюдо?

— Это утка под сладким соусом... — тихо ответила матушка.

— Утка... Прости, сестра, но... но у меня вот изжога! Я болен!

Дядя сделал кислое, плачущее лицо и продолжал:

— И черт принес этого губернатора! Очень мне нужен его визит! Пф... изжога! Я не могу ни спать, ни работать... Совсем развинтился... И как это, не понимаю, вы можете жить тут без работы... в этой скучице! Вот уж у меня и боль начинается под ложечкой...

Дядя нахмурился и быстрее зашагал.

— Братец, — тихо спросила матушка, — а сколько стоит поехать за границу?

— По меньшей мере три тысячи... — ответил плачущим голосом дядя. — Я бы поехал, а где их взять? У меня ни копейки! Пф... изжога!

Дядя остановился, поглядел с грустью на серое, пасмурное окно и опять зашагал.

Наступило молчание... Матушка долго глядела на икону, что-то раздумывая, потом заплакала и сказала:

— Я, братец, дам вам три тысячи...

Дни через три величественные чекоданы были отправлены на станцию, а вслед за ними укатил и тайный советник. Прощаясь с матушкой, он заплакал и долго не мог оторвать губ от ее руки, когда же он сел в экипаж, лицо его осветилось детской радостью... Сияющий, счастливый, он уселился поудобней, сделал на прощанье плачущей матушке ручкой и вдруг неожиданно остановил свой взгляд на мне. На лице его появилось выражение крайнего удивления.

— А это что за мальчик? — спросил он.

Матушку, уверявшую меня, что дядюшку бог послал к нам на мое счастье, этот вопрос сильно покоробил. Мне же было не до вопросов. Я глядел на счастливое лицо дяди и мне почему-то было страшно жаль его. Я не выдержал, вскочил в экипаж и горячо обнял этого легкомысленного и слабого, как все люди, человека. Гляди ему в глаза и желая сказать что-нибудь приятное, я спросил:

— Дядя, вы были хоть раз на войне?

— Ах, милый мальчик... — засмеялся дядя, целуя меня, — милый мальчик, ялинусь богом. Так все это естественно, жизненно... ялинусь богом...

Коляска тронулась... Я глядел ей вслед и долго слышал это прощальное «ялинусь богом».

ДЕНЬ ЗА ГОРОДОМ.

(Сценка.)

Девятый час утра.

Навстречу солнцу ползет темная, свинцовая громада. На ней то там, то сям красными зигзагами мелькает молния. Слышны далекие раскаты грома. Тёплый ветер гуляет по траве, гнет деревья и поднимает пыль. Сейчас брызнет маёкий дождь и начнется настоящая гроза.

По селу бегает шестилетняя нищенка Фекла и ищет сапожника Терентия. Беловолосая, босоногая девочка бледна. Глаза ее расширены, губы дрожат.

— Диденька, где Терентий? — спрашивает она каждого встречного. Никто не отвечает. Все заняты приближающейся грозой и прячутся в избы. Наконец встречается ей поцамарь Силантий Силич, друг и приятель Терентия. Он идет и шатается от ветра.

— Диденька, где Терентий?

— На огородах, — отвечает Силантий.

Нищенка бежит за избы на огороды и находит там Терентия. Сапожник Терентий, высокий старик с рабым худощавым лицом и с очень длинными ногами, босой и одетый в порванную женщину кофту, стоит около грядок и пьяными, посолевыми глазамиглядит на темную тучу. На своих длинных, точно изуравленных ногах он покачивается от ветра, как скворешка.

— Дядя Терентий! — обращается к нему беловолосая нищенка. — Диденька, родиенъки!

Терентий нагибается к Фекле, и его някное, суровое лицо покрывается улыбкой, какая бывает на лицах людей, когда они видят перед собой что-нибудь маленькое, глупенькое, смешное, но горячо любимое.

— А-аа... раба божия Фекла! — говорит он, нежно сплюснув. — Откуда бог принес?

— Диденька Терентий, — всхлипывает Фекла, дергая сапожника за полу. — С братцем Данилкой беда приключилась! Пойдем!

— Какая-такая беда? У-ух, какой гром! Свят, свят, свят... Какая беда?

— В графской роще Данилка засунул в дупло руку и вытащить теперь не может. Поди, диденька, вынь ему руку, сделай милость!

— Как же это он руку засунул? Зачем?

— Хотел достать мне из дупла кукушечье яйцо.

— Не успел еще день начаться, а у вас уже горе... — крутил головой Терентий, медленно оплевывая. — Ну, что ж мне теперь с тобой делать? Надо итти... Надо, волк вас заешь, баловников! Пойдем, сирота!

Терентий идет с огорода и, высоко поднимая свои длинные ноги, начинает шагать вдоль по улице. Он идет быстро, не глядя

по сторонам и не останавливаясь, точно его пихают сзади или пугают погоней. За ним едва поспевает нищенка Фекла.

Путники выходят из деревни и по пыльной дороге направляются к синеющей вдали графской роще. К ней версты две будет. А тучи уже заволокли солнце, и скоро на небе не остается ни одного голубого местечка. Темнеет.

— Свят, свят, свят, — шепчет Фекла, спеша за Терентием.

Первые брызги, крупные и тяжелые, черными точками ложатся на пыльную дорогу. Большая капля падает на щеку Феклы и попадает слезой к подбородку.

— Дождь, начался! — бормочет сапожник, взбодораживая пыль своими босыми, костистыми ногами. — Это слава богу, брат Фекла. Дождиком трава и деревья питаются, как мы хлебом. А в рассуждении грома, ты не бойся, сиротка. За что тебя этакую махонькую убивать?

Ветер, когда пошел дождь, утихает. Шумят только дождь, стуча, как мелкая дробь, по молодой ржи и сухой дороге.

— Иамокнем мы о тебе, Феклушка! — бормочет Терентий. — Сухого места не останется... Хо-хо, брат! За шею потекло! Но ты не бойся, дура... Трава высохнет, земля высохнет, и мы с тобой высохнем. Солнце одно для всех.

Над головами путников сверкает молния сажени в две длины. Раздается раскатистый удар, и Фекле кажется, что что-то большое, тяжелое и словно круглое катится по небу и прорывает небо над самой ее головой.

— Свят, свят, свят... — крестится Терентий. — Не бойся, сиротка! Не по злобе гремит.

Ноги сапожника и Феклы покрываются кусками тяжелой, мокрой грязи. Итти тяжело, скользко, но Терентий шагает все быстрей и быстрей... Маленькая, слабосильная нищая задыхается и чуть не падает.

Но вот, наконец, входят они в графскую рощу. Омытые деревья, потревоженные налетевшим порывом ветра, ссыплют на них целый поток брызгов. Терентий спотыкается о них и начиняет итти тише.

— Где же тут Данилка? — спрашивает он. — Веди к нему!

Фекла ведет его в чащу и, пройдя с четверть версты, указывает ему на брата Данилку. Ее брат, маленький, восемилетний мальчик с рыжей, как охра, головой и бледным, болезненным лицом, стоит, прислонившись к дереву, и, склонив голову набок, косится на небо. Одна рука его придерживает понюханную шапочку, другая спрятана в дупле старой лиши. Мальчик внимательно смотрит в гремящее небо и, повидимому, не замечает своей беды. Заслышав шаги и увидев сапожника, он болезненно улыбается и говорит:

— Стрась какой гром, Терентий! Отродясь такого грома не было...

— А рука твоя где?

— В дупле... Вынь, сделай милость, Терентий!

Край дупла надломился и ущемил руку Данилы: дальше просунуть можно, а двинуть назад никак нельзя. Терентий надтамывает отломок, и рука мальчика, красная и помятая, освобождается.

— Страсть как гремит! — повторяет мальчик, почесывая руку. — А отчего это гремит, Терентий?

— Туча на тучу надвигается... — говорит сапожник.

Путники выходят из рощи и идут по опушке к чернеющей дороге. Гром мало-по-малу утихает, и раскаты его слышатся уже издалека, со стороны деревни.

— Тут, Терентий, намедни утки пролетели... — говорит Данилка, все еще почесывая руку. — Должно, в Гнилых Займищах на болотах сидут. Фекла, хочешь, я тебе соловьиное гнездо покажу?

— Не трогай, потревожишь... — говорит Терентий, вынимая из своей шапки воду. — Соловей птица печальная, безгрешная... Ему голос такой в горле даден, чтоб бога хвалить и человека увеселять. Грешно его тревожить.

— А воробья?

— Воробья можно, злая птица, ехидная. Мысли у него в голове, словно у жулика. Не любит, чтоб человеку было хорошо. Когда Христа распинали, он юдам гвозди носил и кричал: «жив! жив!»...

На небе показывается светло-голубое пятно.

— Погляди-ко-сь! — говорит Терентий. — Муравейник разрыло! Затопило щельмов от них!

Путники нагибаются над муравейником. Ливень размыл жилище муравьев; насекомые встревожено снуют по грязи и хлопочут около своих утонувших сожителей.

— Ништо вам, не околеете! — ухмыlnется сапожник. — Как только солнышко пригреет, и придет в чувство.... Это вам, дуракам, наука. В другой раз не будете селиться на низком месте.

Идут дальше.

— А вот и пчелы! — вскрикивает Данилка, указывая на ветви молодого дуба.

На этой ветке, тесно прижавшись друг к другу, сидят измождшие и озябшие пчелы. Их так много, что из-за них не видно ни коры, ни листьев. Многие сидят друг на друге.

— Это пчелиный рой, — учит Терентий. — Он летал и искал себе жилья, а как дождь-то брызнул на него, он и присел. Ежели рой летит, то нужно только водой на него брызнутъ, чтоб он сел. Талеря, скажем, ежели захочешь их забрать, то опусти ветку с ними в мешок, потряси, они все и попадают.

Маленькая Фекла вдруг морщится и сильно чешет себе шею. Брат глядит на ее шею и видит на ней большой волдырь.

— Ге-ге! — смеется сапожник. — Знаешь ты, брат Фекла, откуда у тебя эта напасть? В роще где-нибудь на дереве сидят

шпанские мухи. Вода текла с них и капнула тебе на шею — от того и волдырь.

Солнце показывается из-за облаков и заливает лес, поле и наших путников греющим светом. Темная, грозная туча ушла уже далеко и унесла с собою грозу. Воздух становится тепл и пахуч. Пахнет черемухой, медовой кашкой и ландышами.

— Это зелье дают, когда из носа кровь идет, — говорит Терентий, указывая на мохнатый цветок. — Помогает...

Слышится свист и гром, но не тот гром, который только-что унесли с собой тучи. Перед глазами Терентий, Данилы и Феклы мчится товарный поезд. Локомотив, пыхтя и дыша черным дымом, тащит за собой больше двадцати вагонов. Сила у него необыкновенная. Детям интересно бы знать, как это локомотив не живой и без помощи лошадей может двигаться и тащить такую тяжесть, и Терентий берется объяснить им это:

— Тут, ребята, вся штука в паре... Пар действует... Он, стало-быть, прет под энту штуку, что около колес, а оно и тово... этого... и действует...

Путники проходят через полотно железной дороги и затем спустившись с насыпи, идут к реке. Идут они не за делом, а куда глаза глядят, и всю дорогу разговаривают. Данила спрашивает, Терентий отвечает...

Терентий отвечает на все вопросы, и нет в природе той тайны, которая могла бы поставить его в тупик. Он знает все. Так, он знает названия всех полевых трав, животных и камней. Он знает, какими травами лечат болеющие, не затруднится узнать, сколько лошади или корове лет. Глядя на заход солнца, на луну, на птиц, он может сказать, какая завтра будет погода. Да и не один Терентий так разумен. Сплюнтий Сычих, кабатчик, огородник, пастух, вообще вся деревня, знают столько же, сколько и он. Учились эти люди не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их сами птицы, когда пели им песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя багровую зарю, сами деревья и травы.

Данилка глядит на Терентия и с изящностью вникает в каждое его слово. Весной, когда еще не надоели тепло и однообразная зелень полей, когда все ново и дышит свежестью, кому не интересно слушать про золотистых майских жуков, про журавлей, про колоссящийся хлеб и журчащие ручьи?

Оба, сапожник и спрота, идут по полю, говорят без умолку и не утомляются. Они без конца бы ходили по белу свету. Идут они и в разговорах про красоту земли не замечают, что за ними следом семенит маленькая, тщедушная нищенка. Она тяжело ступает и задыхается. Слезы повисли на ее глазах. Она рада бы оставить этих неутомимых странников, но куда и к кому может она уйти? У нее нет ни дома, ни родных. Хочешь — не хочешь, а иди и слушай разговоры.

Перед полуднем все трое садятся на берегу реки. Данила вынимает из мешка кусок измокшего, превратившегося в машицу хлеба,

и путники начинают есть. Закусив хлебом, Терентий молится богу, потом растягивается на песчаном берегу и засыпает. Пока он спит, мальчик глядит на воду и думает. Много у него разных дум. Недавно он видел грецов, пчел, муравьев, поезд, теперь же перед его глазами суетятся рыбешки. Одни рыбки с вершок и больше, другие не длиннее ногтя. От одного берега к другому, поднимив вверх голову, проплыvает гадюка.

Только к вечеру наши странники возвращаются в деревню. Дети идут на почлег в заброшенный сарай, где прежде ссыпался общественный хлеб, а Терентий, простиившись с ними, направляется к кабаку. Прижавшись друг к другу, дети лежат на соломе и дремлют.

Мальчик не спит. Он смотрит в темноту, и ему кажется, что он видит все, что видел днем: тучи, яркое солнце, птиц, рыбешен, долговязого Терентия. Изобилие впечатлений, утомление и голод берут свое. Он горит, как в огне, и ворочается с боку на бок. Ему хочется высказать кому-нибудь все то, что теперь мерещится ему в потемках и волнует душу, но высказать некому. Фекла еще мала, и не понять ей.

«Ужо завтра Терентию расскажу...» — думает мальчик.

Засыпают дети, думая о бесприютном сапожнике. А ночью приходит к нему Терентий, крестит их и кладет им под головы хлеба. И такую любовь не видят никто. Видят ее разве одна только луна, которая плывет по небу и ласково, сквозь дырявую стреху, заглядывает в заброшенный сарай.

1886.

В ПАНСИОНЕ.

В частном пансионе т-те Жевузем бьет двенадцать. Пантерки, вялые и худосочные, взлившись под-руки, чинно прогуливаются по коридору. Классные дамы, желтые и веснушчатые с выражением крайнего беспокойства на лицах, не отрывают от них глаз и, несмотря на идеальную тишину, то и дело выкрикивают: «Медам! Силяне!»

В учительской комнате, в этой таинственной святыне сияющих, сидит сама Жевузем и учитель математики Дырявин. Учитель давно уже дал урок, и ему пора уходить, но он остается, чтобы попросить у начальницы прибавки. Зная склонность «старой шельмы», он поднимает вопрос о прибавке не прямо, а дипломатически.

— Гляжу я на ваше лицо, Бытика Ивановна, и вспоминаю прошлое... — говорит он, вздыхая. — Какие прежде, в наше время, красавицы были! Господи, что за красавицы! Пальчики обсосешь! А теперь? Перевелись красавицы! Настоящих женщиниче нет, и все какие-то, прости господи, трясогузки да кильхи... Одна другой хуже...

— Нет, и теперь много красивых женщин! — карташ Жевузем.

— Где? Покажите мне: где? — горячится Дырявин. — Полюте, Бытика Ивановна! По доброте своего сердца вы и белужью харю изозвете красавицей, знаю я вас! Извините меня за эти кель-выражансы, но я покрени на вас говорю. Нарочно вчера на концерте осматривал «гонщицы»: рожа на роже, кривуля на кривице! Да ваять вот хоть наш старший класс. Ведь все это бутони, сты, самые, можно сказать, сливки — и что же? Восемнадцать их штук, и хоть бы одна хорошенъка!

— Вот и неправда! Кого ни спросите, всякий вам скажет, в моем старшем классе много хорошенъкx. Например, Кочкина Иванов 2-я, Пальцева... А Пальцева просто картина! Я генеральша, да и то на нее заглядываюсь...

— Удивительно... — бормочет Дырявин. — Ничего в ней нет хорошего...

— Прекрасные черные глаза! — волнуется Жевузем. — Черные, как тушь! Вы поглядите на нее: это... это совершенство! Древности с нее писали бы боги...

Дырявин отродись не видал таких красавиц, как Пальцева, о жажде прибавки берет верх над справедливостью, и он продолжает доказывать «старой шельме», что в настоящем времени красавиц нет.

— Олько и отдыхаешь, когда взглянешь на лицо какой-нибудь дамы, — говорит он. — Правда, молодости не увидишь, но зато глаза отдохнет хоть на правильных углах... Главное — правильность черт! А у вашей Пальцевой не черты, а какая-то сметана... кислотина... начит, вы не всматривались в нее... — говорит Жевузем. Вы всмотритесь, да тогда и говорите... Ничего в ней нет хорошего, — угрюмо вздыхает он.

Жевузем вскакивает, идет к двери и кричит:

— Позвать ко мне Пальцеву! Вы всмотритесь в нее, — она учитель, отходи от двери. — Вы обратите внимание на нос... Лучшего носа во всей России не найти. В минуту учительскую входит Пальцева, девочка лет сорока, стройная, с большими черными глазами греческим носом.

— поближе... — обращается к ней Жевузем. — М-г Дырявин вот жалуется мне, что вы... тины за уроками математики. Вы вообще рас-

бре плохо занимаетесь... — бормочет Дырявин, Пальцевой.

— продолжает Жевузем. — Нехо- чите, чтобы я наказывала вас наравне с остальными, и вы должны другим пример

давать, а не то что вести себя так дуально... Но... пожалуйте извините!

Жевузем говорит еще очень много «общих мест». Пальцева рассмеяно слушает ее и, шевеля ноздрями, глядит через Дириянина в окно...

«Отдай все — и мало, — думает математик, рассматривая ее. — Роковая девчонка! Ноздрями шевелит, постукивает... Чует, что я иду на волю вырвется... Дай только вырваться, забуду ее в эту Жевузешку, и болванка Дириянина, и алгебру... Алгебра ей нужна! Ей нужен простор, блажь... нужна жизнь.

Дириянин задыхает и продолжает думать:

«Ох, эти ноздри! И месяц не пройдет, как вся моя алгебра ведет к чорту... Дириянин обратится в скучное, серое воспоминание... Встречусь с ней, так она только ноздрями пошевелит и заржавеет и скажет. Спасибо хоть за то, что колеско у нее развалит...»

Хорошие успехи могут быть только при выдумке и прелестности, — продолжает Жевузем, — а вы невнимательны... Если еще будут продолжаться жалобы, то я принуждена буду написать вас... Сядьте!

«Не слушай, ангел, эту сухую лимонную коржу, — думает Дириянин. — Нисколько не стыдно... Ты гораздо лучше всех из моих юных».

— Слушайте! — строго говорит Жевузем.

Пальцева делает реверанс и выходит.

— Ну что? Всматриваясь теперь, — спрашивает Жевузем.

Дириянин не слышит ее вопроса и все еще думает.

— Ну? — повторяет начальница. — Плоха, по-вашему?

Дириянин тупо глядит на Жевузем, приходит в себя и испытывает облегчение, оживляется.

— Хоть убейте, ничего хорошего не нахожу... — говорит он. — Вы вот умне в лет 7, а нос и глаза у вас гораздо лучше у них... Честное слово... Поглядите-ка на себя в зеркало.

В конце концов тщетно Жевузем соглашается, и Дириянин уходит пребыванию.